



Digitized by the Internet Archive
in 2022 with funding from
Kahle/Austin Foundation

FEB 16 2012

**LAS VEGAS CLARK COUNTY
LIBRARY DISTRICT
7060 W. WINDMILL LN.
LAS VEGAS, NV 89113**

**Нина
МОЛЕВА**

**Моя прекрасная графиня,
или Любимая женщина
Гоголя и Дюма**



**Астрель
МОСКВА**

УДК 821.161.1-311.6
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
М75

*Серия «Кумиры. Истории Великой Любви»
основана в 2008 г.*

Молева, Н. М.

М75 Моя прекрасная графиня, или Любимая женщина Гоголя и Дюма / Нина Молева. — М.: Олимп: Астрель, 2010. — 285, [3] с. — (Кумиры. Истории Великой Любви).

ISBN 978-5-7390-2425-1 (ООО «Агентство «КРПА Олимп»)

ISBN 978-5-271-25213-6 (ООО «Издательство Астрель»)

Графиня Евдокия Ростопчина. Одна из самых красивых женщин Европы, чьими стихами восхищались Пушкин и Лермонтов. Ее боготворили и презирали за «легкость бытия». Она была слишком независима. Ростопчина — первая женщина, которая не побоялась пойти против течения. Ее история — история XVIII века. Но главное — ее мужчины... Ловелас Александр Дюма любил в своей жизни только двух женщин. Одна из них — графиня Ростопчина. И, пожалуй, главная тайна ее жизни — Гоголь. Правда об их любви до сих пор волнует историков. Когда Николай Васильевич умер, в комнате с его гробом всю ночь простояла женщина. Ее лица под вуалью не увидел никто. А на могиле Гоголя еще долгое время каждый год появлялись белые розы.

В новой пронзительной книге автора исторических бестселлеров Нины Молевой впервые приводится засекреченный архивный документ, проливающий свет на смерть Гоголя.

УДК 821.161.1-311.6
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ДЮМА-ОТЕЦ И ДЮМА-СЫН

— Я заезжал к вам вчера, отец.

— Утром. И не застал меня дома.

— Я поторопился быть ко времени вашей первой чашки кофе. Мне хотелось сказать, что, кажется, издание моих сочинений может состояться.

— Но это же великолепно! Прости, что разочаровал тебя и в первую очередь, конечно, самого себя.

— Мне предстоит только написать предисловие.

— Ты это сделаешь самым блистательным образом. Полное собрание сочинений Александра Дюма-сына — такое превосходит все мои ожидания! Какая же досада, что я целые сутки был лишен возможности переживать отцовскую гордость и воображаю твое разочарование.

— Разочарование было, но оно было почти компенсировано раскрывшейся передо мной интригой.

— Интригой?

— О, да. Этьен сообщил мне совершенно невероятную вещь, что вы всегда, это значит из года в год, именно 14 декабря, ездите в церковь Сен-Этьен на утреннее богослужение.

— В чем же вы заподозрили интригу с Этьеном?

— Да вы еще и упрямитесь, отец! Но Этьен заметил не просто число. Однажды, чувствуя себя сильно простуженным, вы отправили на площадь Пантеона его с поручением поставить свечу в память одинаково незнакомой и мне и ему женщины. Ваш секретарь не мог не запомнить ее

имени? Евдоксия. А ведь вы знали такое множество женщин!

— Множество! Это обещает много и не говорит ничего.

— Я не понимаю вас.

— Нет ничего проще. Когда в тебе поднимается желание — неважно, при каких обстоятельствах, в какой обстановке, среди каких особ, ты стремишься удовлетворить его. И здесь могут не иметь никакого значения ни возраст, ни внешность, ни богатство или бедность. Наверное, я бы все-таки припомнил внешность большинства своих фей.

— Наверное? Они не запечатлелись в памяти ваших чувств? Такого не может быть! Хоть какой-то след...

— След? Что ты называешь следом? Разве тебе не приходилось убеждаться, как разборчива наша память, как она дорожит каждым своим уголком? Она не бесконечна, вовсе нет. И от ее разборчивости зависит, станет ли человек писателем и главное — каким: значительным или повседневным. Это от нее зависит, что выходит из-под его пера: что-то примечательное или совершеннейшая галиматья.

— Но ведь и то, что вы так беспощадно называете галиматей, тоже нужно. Она находит своего читателя.

— Правильно. Человеку нужно как-то убивать отведенное ему на земле время. Чтение все деятельнее помогает ему в этом.

— Вот вы, отец, отвергли мое предположение о следе от каждого переживания, а что же, как не след, в вашей жизни таинственная незнакомка с именем византийской

императрицы? Я припомнить не могу, каким бы обязательствам дружбы или добрых отношений вы вообще следовали.

— Не знаешь, потому что я не находил нужным никого в них посвящать.

— Даже меня?

— Мы с тобой из разных поколений, а это куда какой серьезный водораздел. Сравни мои пьесы и свои: они о разном и по-разному трактованы. Для меня важна стихия страстей, в которой действует мой герой, для тебя — все внутри героя, хотя посторонний наблюдатель заметит в лучшем случае легкий бриз на поверхности его души.

— Но женщина с именем императрицы...

— Оказывается, по-настоящему поразила твое воображение. Она — русская графиня, и 14 декабря день ее кончины.

— Но вы были в России так недолго, и в ваших письмах не было и следа каких бы то ни было увлечений.

— Мы познакомились почти десятью годами раньше в Италии. Правда, это было чисто светское знакомство в очень широком кругу писателей, музыкантов.

— И?..

— Потом был Париж. Она ездила по всей Европе. Языки не представляли для нее трудностей. Насколько я знаю, она свободно говорила на четырех или пяти. И блестяще импровизировала на французском и итальянском перевод своих русских стихов — артистично и образно. Общество никогда ее не смущало, да при ее положении, происхождении и таланте это было так естественно. К тому же ее внешность...

— Вы имели возможность с ней говорить?

— В салонах, на литературных вечерах. Балов, во всяком случае, наших парижских балов, она не любила, хотя танцевала превосходно. И у нее был едва ли не самый модный и дорогой портной.

— Как это на вас похоже, отец, замечать даже такие детали. Но, кроме салонов...

— Кроме... Один раз мы случайно встретились у церкви Сент-Этьен. Вряд ли ты ее знаешь.

— На углу улочки Кловис и площади Пантеона.

— Забыл, что тебе так хорошо знакомы все хитроspлечения латинского квартала.

— Это не слишком удачное место для прогулок.

— Если ты не собираешься посетить Пантеон. Именно это и сделала графиня.

— Так она обладательница такого высокого титула? Вы никогда не придавали этому значения, отец.

— Но я же тебе сказал, она — талантливая поэтесса. И никакой титул ничего не может прибавить к славе Сафо, которой она пользуется, и не только на родине.

— Мне казалось, что после московской кампании русские не слишком благосклонно относятся к Бонапарту.

— И представь, ты ошибаешься. В России культ первого консула жив едва ли не до сегодняшних дней. В нем многие видят символ свободы в гораздо большей степени, чем императорской власти.

— Графиня тоже?

— С графиней все сложнее. Среди ее поклонников — а им она, мне думается, не знала числа — был удивительнейший поэт Михаил Лермонтов.

— Конечно же, я слышал о нем, хотя читать его мне не приходилось.

— Немудрено. Он вызвал гнев императора своими строками по поводу смерти знаменитого русского поэта Пушкина. Все пути для молодого офицера, которым Лермонтов был, для него закрылись. К тому же он находился на военной службе и рассчитывать на заграничные путешествия не мог.

— Откуда такие подробности, отец? Вам так хорошо знакома русская жизнь?

— Все от графини. Мне удалось разгадать влюбленность в нее Лермонтова, и это немного смягчило ее сердце.

— Не больше?

— Не больше. Впрочем, знаешь, я услышал впервые о молодом поэте от окружения королевы Гортензии. Ей успели их передать. Именно успели, потому что королева ушла из жизни в одном году с Пушкиным. Королеву, как мне говорили, не могли не покорить неукротимость нрава и искренность незнакомого ей русского.

— Вы говорите, искренность? Откуда такое определение? Ведь этот русский поэт помнится, погиб на дуэли. Какие же при этом могли быть секретные обстоятельства?

— А между тем многие считают, что такие обстоятельства существовали, и противник попросту убил Пушкина, хотя простая порядочность требовала от него выстрела неопасного или вообще в воздух. Что, тебе эта история вообще незнакома?

— Я никогда не интересовался ею, как и вообще Россией.

— Коротко могу сказать, что один из французских аристократов из петербургской дипломатической среды принялся ухаживать за молодой женой поэта.

— И небезуспешно?

— Может быть, и так. Но большинство, и в частности мой петербургский приятель князь Нарышкин, склонялось к тому, что француз согласился на роль ширмы для амурных притязаний самого императора. Знал ли об этом Пушкин?

— Мужьям это необязательно.

— Ты прав. Потому что дело дошло до дуэли, которая расстроилась только потому что этот фертик неожиданно для всех женился на сестре госпожи Пушкиной, на редкость некрасивой, как мне говорили, бесприданнице.

— Счастливый конец?

— Как раз нет. Чей-то роман с госпожой Пушкиной продолжался, приобрел откровенно скандальную окраску, и Пушкину не оставалось ничего иного, как послать вызов зятю.

— Скандал в благородном семействе. А разве нельзя было супругам под любым предлогом уехать в свои сельские владения — ведь они же наверняка у них были?

— Владения были. Но такого исхода не пожелали ни госпожа Пушкина... ни император.

— Император? Так откровенно?

— У поэта было какое-то придворное звание и обязанности, от которых император его не освободил.

— Но после гибели мужа при подобных обстоятельствах вдове оставалось все равно уехать из столицы.

— Так вот вдова никуда не уехала из Петербурга, хотя ее больше не посещал никто из друзей покойного поэта. А Лермонтов за одно упоминание в своих стихах об этом придворном скандале был отправлен на театр военных действий, кажется, на Кавказ, откуда не вернулся. Пуля нашла его, причем, по словам графини, тоже на дуэли и при очень сомнительных обстоятельствах.

— Вы долго разговаривали?

— В тот раз вовсе нет. Был апрель. Стояла непогода с мелким ветром и сеткой дождя под порывами ветра. Графиня просто сказала, что заходила в Пантеон, но в память не императора, а поэта Лермонтова и прочла мне несколько строк из его романтической элегии. Она о том, что мы, французы, погубили свою державу, которую Бонапарт сумел возродить, но народ предал и своего спасителя и после всех глумлений над его памятью — теперь несканозанно торжествует по поводу почестей, оказываемых праху.

— И такой смысл мог взволновать женщину?

— Ты удивлен? Но это графиня: и она единственная. Так вот, я могу передать тебе по смыслу заключительные строки:

И грустно мне, когда подумаю, что ныне
Нарушена святая тишина
Вокруг того, кто столько лет в пустыне
Так жадно ждал спокойствия и сна!
И если дух вождя примчится на свиданье
С гробницей новою, где прах его лежит,
Какое в нем негодование

При этом виде закипит!
Как будет он жалеть, печалию томимый,
О знойном острове под небом дальних стран.
Где сторожил его, как он, непобедимый,
Как он, великий океан!

И знаешь название этой элегии? О нем отдельно говорила графиня: «Последнее новоселье».

— И графиня не знала Наполеона? Не видела его?

— Конечно, нет. Она родилась за год до его московской кампании. Ее младенцем увезли из Москвы. Но вообрази, судьба придумала ей выйти замуж за сына того самого, ты помнишь, графа Ростопчина, который прославился листовками против наполеоновской армии. Более того, москвичи приписывали именно ему знаменитый пожар столицы, в котором погибла слава Наполеона. Многие говорят, что это граф Ростопчин воодушевлял поджигателей.

— Мой Бог, какие противоречия!

— Или никаких.

— То есть?

— Дело в том, что собственное имущество и поместье граф спас, а по окончании кампании вообще переселился в Париж, где и кончил свои дни. К тому же графиня вышла замуж за молодого Ростопчина, когда уже прошло по меньшей мере 10 лет. Острота переживаний стерлась. События получили новую оценку. А молодое поколение уже перестало оглядываться на старших.

— Все так. Но вы по-прежнему не отвечаете, откуда появилось это сакраментальное декабрьское число? Ваше

свидание под апрельским дождем почему-то стало таким для вас значительным.

— Стало. Я впервые понял эту удивительнейшую женщину.

— А она?

— Что она?

— Откликнулась на ваше прозрение?

— Скорее нет.

— Ваши чары оказались бессильными?

— Ты испытываешь разочарование. И тем не менее. Я больше слушал ее как замороженный, чем говорил. Ее слова были настолько точны, мысли глубоки, а выводы необычны, что у меня и не появлялось желания прерывать ее речь. Разве что вставлять не всегда удачные реплики. Знаешь, садясь в карету, которая все время ехала за нами, она даже сказала, что представляла себе меня гораздо более говорливым и словоохотливым.

— Но уж это и вовсе невероятно! С вами, отец, так не бывает никогда.

— Нет, так уже было, просто ты об этом не знаешь.

— Но вы же пожалеете своего единственного сына и не станете испытывать его любопытство.

— А ведь я впервые вижу тебя таким живым и заинтригованным. Куда же девалась твоя пресловутая невозмутимость, мой дорогой автор собрания сочинений? Теперь она тебе будет необходима как никогда раньше.

— Отец, вы безжалостны.

— Может быть. Просто это не материя для шуток. Мне немало лет, и я себя неважно чувствую. Старые сердечные тайны теряют свой смысл. Вот ты говорил о множестве

женщин в моей жизни. В действительности я любил только двух. Одинаково для меня недоступных и далеких.

— Тех, с кем вы не были близки?

— Конечно, нет. Я боготворил их, восхищался ими, мечтал о том, чтобы увидеть хотя бы издалека, услышать удивительнейшие голоса. Ради таких богинь человек способен совершать самые безрассудные подвиги.

— И не замечать никого вокруг?

— Конечно, не замечать! Как это выражаются ученые физики: в силу несопоставимости удельного веса.

— Вы так и не хотите называть имен.

— Мне непросто это сделать. Но — пусть будет так. Первой в мою жизнь вошла королева Гортензия. Положим, не только в мою. Во Франции слишком многие жили ее именем, ее образ жил в сердцах всех, кто помнил наполеоновскую Францию. Тогда как императору изменили все его маршалы и высокие офицеры, когда от него отступилась его собственная семья, Гортензия хранила ему верность и невольно привлекала к себе все обломки потерпевшего крушение некогда такого величественного корабля. Ее не могли лишить уважения даже самые заядлые враги императора. Она жила в строжайшей ссылке в одном из швейцарских замков. За ней следили. К ней никого не допускали, но...

— Вас, отец, не могло удержать ничто.

— Ты прав. Встреча с королевой стала пунктом моего помешательства. Я должен был ее увидеть, хотя бы приблизиться к ней. Ты не можешь не понять, что во мне происходило: я сын генерала. Боевого генерала. И раннее сиротство, оставившее матушку без средств к существова-

нию. Она не могла дать мне никакого достойного образования. С детства засевавший скрипеть пером в нотариальной конторе в качестве простого переписчика, я ни на мгновение не мог примириться с подобной судьбой.

— Но вы же так рано начали сочинять и сразу же приобрели славу.

— Ты забываешь об огненной негритянской крови, которая все еще продолжает давать о себе знать в моих, да и твоих жилах, — меня разбирало нетерпение. И мне не хватало занятий. Моя голова и темперамент позволили мне перебраться от обыкновенного нотариуса в канцелярию герцога Орлеанского, и дело здесь было не в тщеславии. Я увидел иной мир отношений, представлений и ринулся в океан исторических страстей.

— Ведь вам едва исполнилось двадцать шесть лет, когда на сцене появился ваш «Генрих III и его двор». Все говорят, успех постановки был ошеломляющим.

— Прибавь собственно к литературе ошеломляющие сценические эффекты. Я потратил на них с машинистами сцены больше времени, чем на написание самой пьесы. Раскованный язык. А костюмы! Каскады шелка, бархата, парчи вперемешку с драгоценностями и фантастическими прическами! Публика смотрела как завороченная.

— Но ведь вы же придумали все это, отец.

— Именно придумал, чтобы прибавить остроты в буйство страстей. Если бы ты знал, как я был счастлив не тогда, когда смотрел постановку, а в моменты сочинения!

— Все ваши пьесы проходили с таким же успехом. Вы были на вершине славы. Что же побудило вас искать

встречи с опальной и далекой от всяких страстей королевой?

— Ты хочешь сказать, это могло быть риском? Э, мой мальчик, человеком должно руководить прежде всего чувство, а мне что-то подсказывало, что на берегах Боденского озера нет ни тишины, ни отрешенности, ни покоя, напротив — вулкан страстей, который неодолимо манил меня.

— И вы не ошиблись?

— Не ошибся? Да я и подумать не мог, что один день, всего один день, проведенный в разговорах на аллеях уже не способного противостоять порывам осени парка, полностью перевернет мою писательскую жизнь. Вообрази, как польстило моему самолюбию, что королева знала мои драмы, судила о них достаточно благожелательно, но своими рассказами увлекла меня в мир романов.

— Это был совет королевы?

— Совет? Нет! просто сюжеты, которые она набрасывала, походя, между прочим, были так живы, так увлекательны, что у меня родилось чувство, будто аллеи, с безукоризненным вкусом обставленные комнаты замка, все вокруг стало наполняться будущими героями. Одни ходили, другие переговаривались между собой, третьи стремительно перебегали газоны, устремляясь к невидимым коновязям, где-то ржали лошади, щелкали хлысты, смеялись дамы. Слуги разносили подносы. И все это было в прошлом, в уже состоявшемся, которое можно, нужно было оживить. Только королева была реальностью сегодняшнего дня. Стройная. Гибкая. С летящей походкой. И удивив-

тельнейшим, как звуки органа, голосом — недаром все наполеоновские солдаты хранили его в сердце.

— Но ведь королеве было немало лет, не правда ли?

— Вопрос твой совершенно неуместен. Да, у нее были достаточно взрослые сыновья. Она пережила достаточно долгий и несчастливый брак, теряла любимых людей и главное — мечты. Но для женщин ее склада это не имело значения. Разве женственности знаком возраст? А ум — ум выдающийся, острый, откликающийся на все живое, способен растворяться под грузом лет? Одна преданность идее, которая наполняла ее жизнь, дала бы каждой способной на нее женщине секрет вечной притягательности и очарования. Королева осталась со мной навсегда.

— Не знаю, имел ли я право касаться этой темы. Мне очень неловко, отец...

— Да, вообрази себе, впервые имя графини Ростопчиной мне довелось услышать в окружении королевы. Речь зашла о московских днях Наполеона, о том, что он смотрел огненную стихию, захватывавшую город, с бельведера одного удивительно красивого частного дворца, расположенного у самых ворот Кремля. Именно там он осознал невозвратимость понесенных потерь... Так называемый Пашков дом — он принадлежал родным ее отца.

— Но графиня, когда вы с ней познакомились, была много моложе?

— Ей минуло сорок, и она этого не скрывала.

— Отец, но это же невероятно — вы всегда так цените молодость, изящество ранних женских лет.

— Не знаю точно, но, кажется, графиня была лет на 6—8 моложе меня. В тот первый раз нашего знакомства

она впервые путешествовала по Европе с тремя детьми и мужем. Красавцем мужем, на которого заглядывались все наши парижские дивы. Опять-таки кажется, он был несколькими годами моложе жены. И бесконечно к ней привязан. Так, во всяком случае, говорили. Но никогда он не препятствовал многочисленным знакомствам, и тем более литературным, супруги. Когда они поженились, графиня уже была широко известна в литературных кругах.

— А возраст...

— Наложил ли он на графиню отпечаток? Откуда мне знать? В момент нашего знакомства она была неотразима при всем своем безразличии к ухищрениям светских женщин. Огромные темные глаза, исполненные невыразимой грусти или грустного раздумья. Высокий лоб. Широкий разлет бровей. Длинная шея, которую она всегда оставляла открытой. Прическа с гладкими, не очень длинными бандо — им она тоже не изменяла. Удивительные пухлые губы. Она не была девочкой — она была женщиной, все понимающей, всему сочувствующей. И это ее строки:

Боюсь двусмысленных вопросов и речей!

Боюсь участия, обмана... и друзей!

— Вы рассказывали графине о королеве Гортензии?

— Конечно.

— Они были очень разными?

— Они?

— Королева и графиня?

— Ах, ты об этом...

— Я не имею в виду красоту, молодость, но весь склад.

— В твоём понимании красоты, а уж тем более молодости, вообще не было.

— Но вы же говорите о женщинах, отец!

— О настоящих женщинах. Ты был когда-нибудь в замке Арненберг?

— Конечно, нет. Он составляет, насколько помню, собственность императрицы Евгении и как всякая частная собственность недоступен.

— А на берегах Боденского озера?

— Но я знаю озера Швейцарии.

— Это совсем другое. Представь себе горы, очень высокие горы, сплошь заросшие темным неприветливым лесом. Ели. Много елей. Где-то березы, осины, липы. Их немного. Они у самой воды, которая растекается между горами. Тихая. Невозмутимая. На одном уровне с ней плиты каменной террасы. Дальше в стороне узкие, между очень высоко вытянувшимися деревьями аллеи. Без скамей. Без украшений. Просто длинные лесные дороги, на которые стекает поток желтеющих листьев. Ни человека, ни зверя — только хрупкая женская фигура, уходящая вдаль. Королева не любила спутников, не признавала пустой болтовни. Даже самые близкие не решались ее беспокоить. Она обычно возвращалась в свой музыкальный салон и могла часами играть на фортепьяно. Очень тихо. И не пользуясь педалью — на это обращали внимание все посещавшие ее музыканты.

— А внешность?

— Ей было далеко за сорок, хотя лицо ее выглядело едва ли не на десять лет моложе, а фигура и вовсе принадлежала юной девушке. Но она не придавала этому значения.

— Она не хотела производить впечатление?

— О, нет! Никогда и ни на кого. Она всегда оставалась сама собой и была неотразимой.

— Как это странно.

— К тому же вместе с налетом усталости и постоянного противостояния окружающей вражде у нее — теперь я это понимаю — начинали проявляться свидетельства той болезни, которая унесет ее через несколько лет в могилу.

— Но она-то этого не сознавала.

— Думаю, сознавала. Через некоторое время она мне напишет, догадываясь о моей восторженности, что не стоит брать не себя груз фантазий, несбыточность которых становится поистине сокрушительным грузом по сравнению с обычными жизненными делами.

— И вы ответили?

— Что только подобный груз способен придать смысл моей, во всяком случае, жизни.

— Она поняла?

— Королева Гортензия? Она прислала акварель Арненберга со своей полной подписью. Вода у каменной террасы. Дымка тумана в аллее... Я был там несколько раз.

— Какое романтическое совпадение!

— Не вздумай иронизировать, мой дорогой. Те романтические коллизии, которые писатели Европы с таким трудом придумывают, в России, этой совершенно необычной стране, совершаются на каждом шагу, и на них никто не обращает внимания, они ее повседневность.

— Как бы я мог забыть хоть одну строку из ваших писем. Русских, разумеется.

— Не думаю, чтобы мои набросанные на листе бумаги строки были адекватны подлинным впечатлениям. Вихрь впечатлений был слишком головокружительным.

— Даже для вас.

— Тем более для меня. Фантастические богатства, за считанные дни приобретенные и так же быстро исчезающие. Вчерашние конюхи и ефрейторы, получающие самые высокие в государстве титулы.

— Заслуженно?

— Твой вопрос серьезен? По сути, ни один титул не бывает заслуженным хотя бы потому, что рядом есть десятки людей более заслуженных, более достойных. Мы никогда с тобой не говорили про Кайроса?

— Бога счастливого случая?

— Вот-вот.

— Сколько помню, нет. Да и ведь верите в судьбу, в стечение обстоятельств, в собственную инициативу, смелость наконец, вы сами.

— Э, я! Мы говорим о России. Так вот Россия — страна Кайроса. Он один в ней правит и вершит человеческими судьбами.

— И они поклоняются ему одному?

— Да нет же, они и не догадываются о его существовании. Не воздвигают ему капищ, но — живут по его велениям.

— Мне русские всегда казались погруженными в свое православие, а оно вряд ли совместимо с Кайросом.

— Что ты имеешь в виду — внутреннее отрешение от соблазнов мирской жизни или внешнюю обрядовую сто-

рону? Во всяком случае, ты судишь по второй посылке. Она необычайно живописна и воспринимается как оживающая Византия. К ней нельзя оставаться равнодушным, не говоря о великолепных хорах. А в своем внутреннем мире... Ты знаешь, мне кажется, я начал познавать там смысл язычества. Да, да, именно язычества!

— Отец, вы забыли о Кайросе.

— Вот это ты прав. А между тем я хотел привести тебе в качестве примера происхождение графини.

— Аристократки?

— О да, к ней это определение применимо в полной мере, а вот ее прадед был, вообрази себе, денщиком императора Петра Великого.

— Камердинером? Слугой?

— При этом императоре, как мне объяснял его прямой потомок, князь Нарышкин, все выглядело иначе. Естественно, прислужником он был, но не только в чистке сапог и смене белья. Денщик должен был успевать одновременно вести дела императора: вызывать для конфиденциальных разговоров нужных людей, помнить о протоколе и расписании дня, где-то готовить одежду для выходов или выездов. Как сказал князь Нарышкин, положение и влияние денщика зависело от его сметливости, образованности и удачливости. Скажу тебе, что денщиком императора Петра был отец фельдмаршала Суворова, сам командовавший впоследствии армиями. Предок графини отличался благосклонностью Кайроса и потому кончил службу с немалым капиталом, который приумножил винными откупами. Его наследник уже относился к

числу богатейших людей Москвы и расположился построить себе дворец, которому бы позавидовал сам размещавшийся в Кремле царь.

— В этом была нужда?

— Естественно, никакой.

— Подобное сопоставление не придется по душе никому из венценосцев. Наглец был наказан?

— Россию надо знать. Его поступок не вызвал никакого возмущения. Впрочем, тому способствовали особые обстоятельства. Императрица Екатерина Великая была одинаково равнодушна к честолюбию вчерашних денщиков: как никак ее появление на престоле не позволяло конфликтовать с дворянством всех мастей. А уж тем более спокойно она смотрела, как мне рассказывали, на Москву и ее амбиции. Павел I не успел войти во вкус власти, а Александр III сразу занялся войной. К тому же дворец получился очень хорош, на высоком холме, с видом на Кремль и все его соборы, далеко за реку.

— Эта река так же широка, как Сена?

— Вообрази себе, что нет. Она течет в песчаных открытых берегах. С отмелями и островками. Во многих местах прямо в городе ее переезжают на повозках вброд.

— А набережные для гуляний?

— В России, насколько я заметил во время своего путешествия, нет такого обычая. Гуляния происходят в общественных или частных садах, похожих на Булонский лес. Москва — необычайно широко раскинувшийся город.

— Графиня показывала его тебе?

— Нет. Когда мы встретились в России, она не слишком хорошо себя чувствовала. И вообще — мы не были так коротко знакомы.

— Мой Бог, я перестаю вас узнавать, отец.

— Как и я сам себя.

— Простите, вы остановились на предке графини и его дворце.

— Ах, да. У холма, который он выбрал для своего дома, было свое совершенно необыкновенное прошлое. На нем много веков стояли двор и жилище великого князя московского. Ведь до царей, которые появились там в начале XVII века, московской землей правили великие князья.

— Отец, вы просто увлечены Россией! Или все-таки больше графиней?

— Ну, это было бы преувеличением, хотя...

— Тогда возвращайтесь к графине.

— Ты прав. Хотя одна подробность стала достоянием даже европейских историков. Где-то в начале XV века Московией правил слепой князь, и его неизменной советницей и правой рукой оставалась мать, достаточно престарелая, но необычайно энергичная. Мне запомнилось, что была она дочерью какого-то необычайно воинственного литовского князя — ее брак должен был избавить Москву от постоянных набегов этого племени — и носила она имя Софьи. Сын Софьи был не слишком удачлив в походах, и в очередной раз оставил свою столицу без защиты, уйдя с войском в какой-то поход. Татарские воины, превосходные воины и не менее и тем более отличные наездники, неожиданно подошли к стенам Москвы. Они

уже ограбили все пригороды, окружающие селения. Та же судьба ждала и Кремль, но Софья пошла на невероятную хитрость. Она велела всем оставшимся в городе женщинам ровно в полночь зажечь во дворах костры и начать изо всей силы бить в самую большую металлическую посуду, какая у них найдется. Поднявшийся невообразимый шум и крики заставили татар подумать, что в город неожиданно вернулось княжеское войско, и они обратились ночным временем в бегство, бросив награбленное и даже собственное запасное вооружение. Все это стало достоянием московских женщин, которые преподнесли добычу вернувшимся на следующий день мужьям. Княгине Софье в то время было, ты не поверишь, много больше восьмидесяти лет.

— Но я привык думать, что россиянкам свойствен затворнический образ жизни.

— И ошибался. Они по натуре своей независимы. А вот холм близ Кремля и двор на нем так и сохранили за собой имя великой княгини.

— Пока его не сменило имя денщика.

— История, мой дорогой, история не знает пощады. Хотя маленькая поправка здесь необходима. Денщик после смерти Петра Великого сделал блестящую военную карьеру, и я слышал о нем уже в Астрахани, где он одно время и очень успешно был губернатором.

— Как я упустил из виду, что твое любопытство завело тебя и на Каспийское море.

— Завело, в чем я ни минуты не раскаивался. А вот потомок губернатора построил дворец в Москве. Я не каса-

юсь его архитектурных достоинств — он и в самом деле очень привлекателен. Самое любопытное, что со стороны Кремля хозяин разбил перед ним, на склоне достаточно крутого холма, дивный сад, с тропическими растениями, замысловатыми фонтанами, беседками и вольерами для сказочных птиц. Все это великолепие было открыто для тех, кто проходил или проезжал по улице. У чугунной ажурной решетки собирались толпы зевак. И я очень жалел, что мог любоваться этим московским чудом только на многочисленных гравюрах.

— Пашков дом погиб в пожаре? После того, как его посетил Бонапарт?

— В том-то и дело, что Кайрос пощадил его, но у хозяина не осталось средств на его восстановление. Впрочем, мне говорили, что чуть ли не все московские владения сменили после пожара хозяев по той же самой причине. Графиня и вовсе заметила, что Наполеон сжег дворянскую Россию. Знаешь, она применила запомнившееся мне выражение, что дворянство земельное сменило дворянство духовное.

— Графиня так широко смотрела на вещи?

— Но ведь она была из тех, кто начинал это духовное дворянство.

— А дворец?

— Он стал примером смены поколений. Его владелец, так разбогатевший на винных откупах, придумал завещать свое детище одному из племянников, с тем чтобы сохранить за собой право жить в старых владениях. Говорили, что подобное, на первый взгляд невинное, соглашение стоило племяннику всего состояния и полного разо-

рения. Всплыли какие-то обязательства, долги, платы по процентам. В конце концов, дом был продан государству. Я видел его приведенным во вполне достойный вид, но безо всех тех роскошеств, которые когда-то привлекали москвичей. Даже мне, впервые с ним встретившемуся, было тяжело смотреть на остатки бывшего величия. Поднявшись на его бельведер, я в какой-то момент даже подумал, что Бонапарт достиг своей цели, но скорее всего подобный вывод — плод моей разбушевавшейся фантазии. Во всяком случае, королева Гортензия так не думала. Она не порицала похода на Москву и причину гибели своего кумира связывала прежде всего с изменой соратников, их тщеславием, слабостью и трусостью.

Спор о Гортензии Богарне

Кардинал Гектор Консальви мог быть доволен. Падение Наполеона означало прямой выигрыш католической церкви в Европе. Но талантливейший дипломат Ватикана, кардинал в свое время положил слишком много усилий ума и изворотливости, чтобы добиться возможно более выгодных для римского папы условий конкордата с французским императором, и теперь откровенно сожалел об оказавшемся бесполезным труде: «Удивительная вещь! Из всего многочисленного семейства выдвинулся лишь один человек; но как скоро он заперт в клетку, не остается ничего». — «Остается королева Гортензия», — возражает Пий VII.

Прежде всего — не королева. Полученный по мужу титул перестал существовать задолго до падения Первой

империи. Придуманное Наполеоном Голландское королевство родилось в 1806 году и исчезло в 1810-м в связи с отказом назначенного короля от престола. У временного обладателя короны были свои представления о стране, за судьбы которой он так неожиданно оказался в ответе, а для Наполеона изменившаяся политическая ситуация делала более выгодным прямое включение голландских территорий в состав Французской империи.

Итак, бывшая королева, но к тому же не член семьи Бонапартов. Дочь первой жены Наполеона, Жозефины Богарне, Гортензия после развода с мужем, братом императора, формально перестала принадлежать к правящему дому. И опять-таки фактический разрыв наступил уже давно — в 1808 году, а Бонапарты всегда предельно враждебно относились ко всем представителям «клана Жозефины».

Роль человека в истории — она взвешивается на весах исторической науки, уточняется и выверяется по мере выявления новых фактов и обстоятельств. Она всегда находит свое отражение и в традиции — не только науки, но и, казалось бы, ничем не аргументированной оценки современников и потомков. Слова Пия VII полностью входят в эту, теперь уже полуторавековую, традицию. Литература о Наполеоне, находящая авторов среди историков всех стран и всех школ, имеет специальный и немалый раздел исследований, «посвященных Гортензии. И не просто Гортензии Богарне, но всегда королеве. Дерон — «Анализ воспоминаний о королеве Гортензии», Фурманстро — «Королева Гортензия», «Путешествия королевы Гортензии», Анри Бордо — «Сердце королевы Гортензии» или

вышедший в 1968 году капитальный труд Франсуа де Бернарди «Королева Гортензия» — всех не перечесать.

Это далеко не часто встречающаяся, почти бессознательная уважительность исследователей сама по себе говорит о многом. Гортензия сохраняет не титул — некое внутреннее значение королевы, и она неотделима от Наполеона отчасти в его славе, но прежде всего в поражении, в годах, наступивших после. Роман, связь, общие дети — не высказанные прямым текстом намеки, предположения не могут не занимать воображения обывателя. Для историков факт их возникновения далеко не принципиален и сам по себе ничего не может решить.

Историки чаще обвиняют — много реже защищают. В перспективе лет ошибка, просчет обладают свойством проявляться в своем истинном значении как рисунки переводных картинок под губкой времени и анализа исследователя. Зато правильность некогда принятых решений Бурбона почти необъяснимая, если бы не та исключительная благосклонность, которую оказывает всем Богарне Александр I.

Какими бы дипломатическими соображениями ни руководствовался русский император, этой своей благосклонностью он явно афиширует. День в Мальмезоне у Жозефины, в тесном кругу ее детей, без свидетелей, без обычного окружения придворных. Многочасовые беседы с Евгением и отдельно с Гортензией. Новые визиты, всегда с соблюдением всей полноты императорского этикета в отношении «бывших», и та атмосфера непринужденной простоты, в изображении которой Александр Павлович не знал себе равных. Другое дело, что никакие просьбы

Жозефины разрешить ей переехать на Эльбу не достигают результата. Александр непреклонен: у Наполеона другая жена, а главное — Богарне может оказаться слишком преданным человеком.

Зато со смертью Жозефины Александр тут же приходит на помощь оказавшейся в стесненных материальных обстоятельствах Гортензии. Девятьсот тысяч франков за коллекцию картин Мальмезона — если даже считать, что сюда входило прославленное «Снятие со креста» Рубенса, полотна Берхема, Поттера, «Бокал лимонада» Терборха, целая серия картин Тенирса, включая его «Караульню» и «Обезьян на кухне», лучшие холсты Клода Лоррена, — назначенная победителем цена говорила о театральном жесте. Ведь спустя несколько лет другой русский император, Николай I, заплатит той же Гортензии за принадлежавшие ей полотна Рембрандта всего по четыре тысячи франков. Разве не обязана ссыльная королева довольствоваться любой предлагаемой ей ценой? Но так будет в 1829 году, а пока все еще в жизни Гортензии обещает уладиться, и почему знать, может, худшее уже позади...

Худшее... Разве дело только в разводе с Луи, который в запале противоречивых и сложно переплетенных чувств готов наносить Гортензии все новые и новые удары, то отрекаясь от сыновей, то требуя мальчиков к себе. А развод Наполеона с Жозефиной — так ли легко он обошелся именно для Гортензии?

Жозефина — это счастливое начало наполеоновской звезды. Для многих — почти символ непрерывных удач первого консула, потом императора, как бы ни складывались в действительности отношения супругов. Но по мере

побуждений, поступков всегда относительна, всегда спорна. Но здесь большинство ученых на редкость единодушны в своем желании защитить (оправдать?) хрупкую, романтическую, так склонную к увлечениям Гортензию Богарне ото всяких подозрений в политической деятельности, в самой причастности к слишком сложным для ее разумения идеям бонапартизма.

Да, это верно, что ее библиотеке мог позавидовать не один ученый: сочинения драматургов, труды по истории, Сен-Симон, Руссо, Вольтер, Севињи, Мольер. Но разве не занималась Гортензия столько времени пением, и притом почти профессионально? Разве не посвящала все утренние часы живописи? Даже из двух отданных ей для жилья тесных комнат в Тюильрийском дворце, куда перебрался с семьей ее отчим в качестве первого консула, Гортензия одну сумела превратить в настоящую живописную мастерскую. Ученица знаменитого в те годы И. Изабе, она по праву может быть отнесена к числу лучших европейских миниатюристов первой четверти XIX века, работавших в портрете и пейзаже.

А романсы, которые пишет Гортензия и которые исполняются во всей Франции,— разве они не свидетельство ее подлинных увлечений, душевного призвания, наконец? Могла же Гортензия в 1813 году, когда империя дала такие глубокие и начавшие стремительно разрастаться трещины, заниматься не чем-нибудь — изданием своих романсов, во всех мелочах обсуждая с ею же разысканным художником, в будущем одним из лучших литографов Франции, Тьеноном, необходимые иллюстрации?

Или литературные опыты королевы? Пусть сравнительно несложно писать мемуары — в них имя автора всегда поможет оправдать любые профессиональные огрехи, — и все же труд Гортензии отличают от литературы подобного рода и редкая наблюдательность, и умение воссоздать настроение момента, и непринужденный, точный в оборотах язык.

Совсем иное дело — жанр путевых впечатлений, приобретший к тридцатым годам XIX века большую традицию. И тем не менее написанная Гортензией книга «Королева Гортензия в Италии, Франции и Англии в 1831 году» будет переиздаваться и при ее жизни, и во второй половине столетия. А ведь это путешествие совсем особого рода, не дававшее автору никаких возможностей созерцания, философствования, умиротворенного наблюдения за медлительным течением жизни, так характерное, положим, для Стерна и многих других. Гортензия пускается в свой путь в глубокой тайне, чтобы вопреки всем полицейским запретам проникнуть ко дворам европейских монархов и просить о помиловании единственного оставшегося в живых сына, который принял участие в революционном движении итальянских инсургентов.

Оправдание историков переходит в обвинение и, во всяком случае, явственное, расчетливое ограничение исторических масштабов Гортензии. Так свидетельствуют общеизвестные и неизменно повторяемые в литературе факты. Только исчерпывают ли они жизнь, прожитую Гортензией? И не потому ли на таком неослабевающем с годами накале держится спор историков — кем была она?

Почти некрасивая и на редкость женственная, невозмутимая и страстная, не знающая страха и бесконечно беспомощная в личных неудачах голубоглазая креолка с путаницей шелковистых белокурых волос — кем была королева Гортензия?

Тени семейного счастья

«И все-таки вначале они любили друг друга», — скажет Наполеон на острове Святой Елены и станет повторять свою мысль упрямо, настаивая, готовый приводить даже доказательства. И это Наполеон, никогда не обращавший внимания ни на какие психологические тонкости, тем более в личных отношениях. В безысходности дней на острове Святой Елены развенчанный император возвращается мыслями к прошлому, пересматривает ситуации, оценки людей.

«Все-таки любили...» Они — это младший из Бонапартов Луи и Гортензия. И их брак, неудавшийся от начала и до конца.

Луи, тот самый Луи, которого Наполеон так рано забрал с собой во Францию, поместил в военное училище, об успехах которого с такой гордостью писал: «Никаких недостатков братьев и достоинства, которых они не имеют». К тому же — еще один предмет для гордости — «все женщины от него без ума». Но не этот ли успех оказался роковым для Гортензии? У Луи в 24 года расстроенное здоровье, невыносимый характер и явный интерес к кузине Гортензии, Эмилии Богарне, — сомнительные залогов будущего семейного счастья.

Впрочем, и Гортензия не склонна скрывать своего спокойного безразличия к намеченному для нее жениху. Ей нужна отсрочка в восемь дней, чтобы решиться дать согласие на брак. Отказаться? Но ведь так не было принято в те годы, и Гортензия слишком дочь своего времени, чтобы не знать, сколько браков начинается и кончается полнейшим безразличием друг к другу супругов. И разве не понадобилось той же Жозефине несколько «лет, чтобы привязаться к своему второму мужу, почувствовать к нему хотя бы тень симпатии? Это сдержанное безразличие в начале брака и толкает Наполеона впервые на мысль о разводе. Со временем все переменится. Но со временем Наполеон уже не будет «маленьким генералом», даже не первым консулом — овеянным славой сказочных побед полководцем, императором разраставшейся как по мановению волшебного жезла империи. И не эта ли метаморфоза сыграла свою, пусть и не осознанную Жозефиной роль в ее отношении к супругу!

На браке Гортензии настаивают Наполеон и, таково мнение современников, Жозефина. С ним не хотят примириться Бонапарты. Ведь речь идет о возможном наследнике начавшего маячить где-то совсем близко, совсем явственно престола. У братьев Наполеона нет сыновей. Значит, будущие сыновья Луи и Гортензии окажутся первыми в ряду претендентов — новый выигрыш ненавистных Бонапартам Богарне с их многочисленными и не склонными к предательству сторонниками.

Но что отстаивает в этом варианте своенравный и неуравновешенный Луи? Собственные честолюбивые планы или не только их? Докучавшему ему брату Люсье-

ну, который доказывает необходимость отказаться от союза с Гортензией, он бросает с досадой: «Все так, но я влюблен». Гортензия нигде не обратится к этому слову, и только в завещании, зная скорый и неизбежный исход своей болезни, она произнесет обращенную к мужу скорее формулу, чем живые слова запоздало шевельнувшегося в груди чувства: «Моим самым большим сожалением было то, что я не смогла сделать его счастливым». Сочувствие к остающимся, снисхождение к чувствам сына или поза безгрешности, о которой человек не забывает и на пороге смерти?

Нет, ничего откровенно поспешного в браке Луи и Гортензии не было. Венчание отделяют от помолвки три месяца. Зато после свадьбы, как только не остается сомнений, что Гортензия ждет ребенка, Луи неожиданно оставляет жену и отправляется на курорт в Бареж. Какие сверхважные дела могли задержать там на долгие месяцы молодого супруга? Если же за этим стояла размолвка, то почему Луи все же счел нужным вернуться к самому рождению ребенка?

Историки упиваются догадками, не слишком в конечном счете лестными для Гортензии. Разве недостаточная почва для этого опередившие на несколько недель все расчеты роды? Да и если присмотреться внимательней, сколько кругом окажется куда каких занимательных примет. Отказалась же Гортензия от приготовленного ей Жозефиной затканного цветами подвенечного платья, предпочтя ему простой белый креп. Ведь не надела подаренных Наполеоном сказочных бриллиантов, заменив их простыми жемчугами. А сколько стоило «усилий» Луи —

каждый из присутствовавших обратил на это внимание! — снять со своей уже тронутой параличом руки кольцо и надеть его Гортензии.

Но как бы то ни было, сын родился, и Луи заявляет о своем немедленном выезде из Франции с женой и ребенком. Не Наполеон — Гортензия отвечает категорическим отказом. Едва ли не единственный раз она так резка в выражении своих желаний.

Луи не слишком настаивает, не ставит ультиматумов. Единственное условие, которое Гортензия должна, по его требованию, соблюдать, — никогда не оставаться на ночь в Сен-Клу, постоянной резиденции императорской четы. Условие тем более оскорбительное, что Луи старается придать ему возможно более широкую огласку. Гортензии остается повиноваться. Луи уезжает, и свобода, пусть самая недолгая, все же стоит любой цены.

Октябрь 1802 — сентябрь 1803 года — срок нового отсутствия в Париже Луи. Его формальное оправдание — необходимость лечения на итальянских курортах. Явления паралича действительно прогрессируют, и врачи бессильны их остановить.

Луи не делал попыток сократить срок разлуки. Гортензия, со своей стороны, не искала к этому случая. Взбешенный супруг впервые бросает слово «развод» пока еще только как угрозу. «Несмотря на все грубости, на всю невыносимость своих поступков, Луи любил ее», — скажет об этом времени Наполеон.

Апрель 1804 года. Считанные недели до провозглашения Наполеона императором. Вдвоем с Жозефиной они приезжают к супругам с предложением усыновить их пер-

венца: вопрос о престолонаследии по-настоящему встал на повестку дня. На пути к власти сына Гортензии нет никаких препятствий. Никаких? Такое препятствие есть, и оно непреодолимо — Луи. Сразу и окончательно он отказывается от каких бы то ни было переговоров. Интересы империи, вопросы прочности трона для него не существуют. Конечно, не совсем понятно, почему эти дела государственной важности пытается обсуждать с Луи не Наполеон, а ненавистная младшему Бонапарту Жозефина. Если Наполеон предполагал возможность возражений со стороны брата, разве не привык он каждодневно справляться с сопротивлением всего своего семейного клана? И тем не менее здесь завтрашний император предпочитает оставаться в стороне. Маленький Наполеон-Луи-Шарль не попадет во дворец, но, как только Наполеон становится императором, Гортензия получает титул императорского величества — честь, оказанная, кроме нее, только жене старшего брата императора, Иосифа Бонапарта.

Луи мечется, раздираемый противоречивыми и не всегда объяснимыми в своих истоках чувствами. Гортензия должна перестать видаться с матерью, должна закрыться наглухо в своем доме, в котором никто и никогда не станет желанным гостем. Но, приобретя невдалеке от Парижа великолепное имение с замком Сен Ле, 26-летний Луи первым же распоряжением приказывает разделить комнаты своей половины и половины Гортензии: «Заделать двери между апартаментами в первую очередь. Заделать двери по возможности прочнее».

Гортензия ждет второго ребенка — и Луи снова в отъезде. Но на прощание перед многомесячной разлукой

он бросает: «Если бы этот сын был похож на меня, я бы вас боготворил».

Доказательства увлечения Луи Гортензией — даже в мемуарах Гортензия не приводит (не находит?) их. Разве что единственный «слишком горячий» поцелуй, которым одарит ее Луи в качестве жениха перед отъездом на маневры в Потсдам. Гортензия по своей натуре не склонна к преувеличениям, тем более романтическим, скорее — к спокойному и точному анализу. Наполеон будет писать Жозефине в эти месяцы: «Я имел большое удовольствие видеть эту дорогую девочку, которая всегда добра, разумна, рассудительна». Зато отправка Луи в Потсдам вызвана особыми соображениями, которых Наполеон и не собирается скрывать: «...чтобы он вышел из своего психического и морального маразма».

После рождения второго сына Луи получает престол голландского короля. Гортензия — королева! Но это ничего не меняет в ее семейных делах. Напротив. Она оказывается права в своем упорном нежелании поселиться в Гааге. От тяжелой лихорадки там погибает ее первенец, так много значивший для Жозефины, так любимый Наполеоном. «Дочь моя, вы не написали мне ни слова о вашем настоящем и большом горе, — письмо Наполеона от 2 июня 1807 года из Гданьска.— Вы все забыли, как будто у вас не остается больше никаких обязательств. Мне говорят, что вы больше ничего не любите, что вы безразличны ко всему; я убеждаюсь в этом по вашему молчанию. Это нехорошо, Гортензия, и это не то, что вы мне обещали. Ваши сыновья для вас все. Ваша мать и я — ничто! Если бы вы

были в Мальмезоне, я мог бы разделить ваше горе, но я бы хотел также, чтобы вы вернулись к вашим многочисленным друзьям... надо примириться».

Отчаяние Гортензии, кажется, восстанавливает мир в семье. Супруги проводят вместе несколько недель. Гортензия снова ждет ребенка. Тем большей неожиданностью оказывается теперь уже со всей определенностью поставленный вопрос о разводе.

Попытки Жозефины внести мир в семью дочери заранее обречены на неудачу. Но Наполеон до конца не теряет надежды, верит в возможность ослабить истерические вспышки брата. В его письмах к Луи — смесь терпения учителя по отношению к взбалмошному и бестолковому ученику, суровости и почти просьбы: «Вы имеете одну из лучших жен и самую добродетельную, и вы делаете ее несчастной. Дайте ей танцевать столько, сколько ей хочется, это от ее возраста. Я имею сорокалетнюю жену, и с поля сражения я пишу ей, чтобы она шла на бал, а вы хотите, чтобы женщина в двадцать лет, которая видит, как проходит мимо жизнь, которая полна всех ее иллюзий, жила в монастырской келье и была подобна кормилице, занятой только купанием собственного ребенка. Сделайте же счастливой мать своих детей». Буквально накануне окончательного разрыва Наполеон снова обратится к Луи: «Я надеюсь: тем не менее, что с разумом, которым вы обладаете, вы станете вновь справедливым, добрым и разумным в отношении вашей жены». Впрочем, Луи и не нужно согласия старшего брата. Не дожидаясь рождения третьего сына, того, которому предстояло в будущем восстановить

Вторую империю под именем Наполеона III, Луи 26 августа 1808 года пишет Гортензии: «Прощайте же, мадам, позвольте, чтобы это было последнее письмо, написанное мною вам... Прощайте же, и навсегда. Будьте благополучны и счастливы».

«И все-таки вначале они любили друг друга...» — что в этих словах: оправдание своего первого решения, чувство вины за неудачно сложившиеся судьбы близких людей или назойливая мысль об ином возможном варианте своей и их жизни, который бы мог так или иначе, но благоприятней сказаться на истории рухнувшей империи?

Жить — это действовать

Был акт отречения, подписанный Наполеоном одиннадцатого апреля 1814 года. Был Парижский мир, торжественно заключенный полутора месяцами позже — тридцатого мая. И был Венский конгресс. Империя перестала существовать. Шагреневая кожа ее еще так недавно разраставшихся границ сократилась для Наполеона до жалкого клочка земли в Средиземном море, между родной Корсикой и итальянским побережьем. Остров Эльба — 223,5 кв. километра, 24 тысячи жителей, как сообщали справочники тех лет. Впрочем, все это предоставлялось Наполеону на правах суверена и даже с сохранением титула императора. Ставшие мифическими титулы императорских высочеств сохранялись и за всеми членами его семьи вместе с вполне реальными и внушительными пенсиями на их содержание. В этом союз-

ные правительства готовы были проявлять поистине королевскую щедрость.

Императрице-матери — 300 000 франков, старшему брату с женой — 500 000, Жерому Бонапарту с женой — 400 000, сестрам Полине и Элоизе — по 300 000, Луи — 200 000. Но практически самую большую сумму — 400 000 франков — получает, независимо от Луи, Гортензия с сыновьями. Людовик XVIII к тому же услужливо венчает ее новым титулом — герцогини Сен Ле, под именем которой Гортензия может продолжать жить не только во Франции, но и в самом Париже. Для окончательного утверждения новоучрежденной короны нужна связь с исконными монаршьими домами. Александр I не снизойдет до разрешения на брак с Наполеоном своей сестры. Зато такое предложение с радостью примет для своей дочери и наследницы Марии Луизы австрийский император. Судьба Жозефины предрешена, и Гортензия единственный свидетель минуты, когда Наполеон принимает бесповоротное решение.

Их трое в маленькой гостиной. Жозефина, Наполеон, Гортензия. Гортензия в первый раз исполняет свой только что написанный романс. Слова мадам де Сталь — к кому обращены они, к каждому солдату французской армии или к одному Наполеону: «Вы идете за своей славой... Следуйте голосу чести, но не забывайте меня». Залитое слезами лицо Жозефины. Наполеон, наклонившийся над рукой жены: «Я никогда не встречу женщины лучше вас, мадам». И резко захлопнувшаяся за императором дверь. На следующий день он начнет оформление развода.

Совсем не просто пережить унижение матери — Гортензия до конца будет привязана к ней и сохранит в своем кабинете статую с надписью: «Императрица Жозефина», — потерю надежд на будущее собственных детей — какое теперь Наполеону дело до них... Откровенное торжество семьи Бонапартов! И тем не менее не Бонапарты — все та же Гортензия становится самым близким человеком новой императорской четы. «Дочь моя, я распорядился передать вам Сен Ле. Прикажите вашему управляющему войти во владение этими землями на ваше имя, но на содержании государства. Сделайте распоряжения, какие вам захочется, и перемените людей, которые не будут вас устраивать. Вы нуждаетесь в деревне; и вы не можете иметь более приятной, чем эта», — строки из письма Наполеона Гортензии в январе 1810 года.

Гортензия меньше всего ищет дружбы Марии Луизы, но ей незнакомо и чувство ревности. Может быть, иначе — для нее существуют и имеют смысл иные масштабы оценки человека. Нарастающее внутреннее одиночество Наполеона, его конфликты с окружением после декабря 1812 года побуждают Гортензию оставаться около него, поддерживать новую, такую безликую императрицу. Размах наполеоновских планов, их напор — чего стоят они в глазах благовоспитанной австрийской принцессы по сравнению с неукоснительным выполнением этикета императорского двора! В его нарушении для Марии Луизы большая катастрофа, чем в любом поражении французской армии на поле боя. И какими

усилиями Гортензия, старается поддерживать видимость благополучия!

Всего один день в ее жизни — 1 января 1813 года. В девять часов утра Гортензия приезжает из Парижа в Тюильри поздравить с наступившим годом Наполеона и Марию Луизу. На ней платье «большого выхода», драгоценности — ничто не должно напоминать о начавшихся поражениях. В полдень Гортензия все еще во дворце — на торжественной и требовавшей присутствия всего двора мессе. Потом дорога в Париж, домой, переодеться и появиться в Мальмезоне у Жозефины, а в шесть часов, уже в новом туалете, сесть за семейный стол Наполеона — отсутствия или простого опоздания Гортензии император бы не потерпел. И только в девять вечера снова Париж, собственный дом для недолгого и горького отдыха.

Наполеон уезжает в Трианон. Никто из придворных не ищет возможности разделить его одиночество. Только Мария Луиза — по обязанности — и Гортензия. Две женщины часами сидят у дверей императорского кабинета в ожидании, когда Наполеон прервет свою становящуюся день ото дня все более бесполезной работу. Присутствие Марии Луизы могло бы поддержать Наполеона в ожидающей его ссылке. Но Мария Луиза отказывается разделить судьбу мужа — с этой минуты она перестает для Гортензии существовать: мужское в своей непреклонности решение. Хрупкая блондинка, так любившая изображать себя на автопортретах в тающих облаках кружев и голубых лент, Гортензия никогда не изменяла своим приговорам, какой бы ценой

они ей ни доставались. И еще — она не признает лишних слов, выяснения отношений. Для нее поступки говорят сами за себя — что же могут прибавить к ним слова?

Первое марта 1815 года. Узник Эльбы высаживается на юге Франции. Тысяча солдат и шесть пушек — какие ничтожные остатки былой армии! Но этого оказывается достаточно для триумфального марша через всю страну до Парижа, без единого выстрела, под ликующие крики: «Да здравствует император! На фонарь аристократов и попов!» Европу снова потрясает взрыв давних республиканских настроений и неожиданно для самого Наполеона оживших лозунгов французской революции. Тринадцатое марта — двадцать второе июня 1815 года — второе царствование Наполеона, его Сто дней. Гортензия одна представляет императорский дом — все остальные родственники императора растворились в напряженном и оценивающем ожидании. Она создает видимость жизни двора, собирает офицеров распавшейся армии, готова рисковать жизнью самого близкого ей в эти годы человека — графа Флаго, побочного сына Талейрана, и меньше всего думает о возможности проигрыша, поражения.

А между тем происходящее похоже на киноленту в стремительном и неотвратимом мелькании событий. Наполеон не в состоянии удержать власть. Двадцать третьего июня императором провозглашается его сын. Напрасная попытка спасти трон: Орленка нет в стране, и отказ от власти в его пользу не имеет смысла. Еще одно усилие — Наполеон бежит, чтобы добраться до Северо-Американских штатов, но 15 августа попадает в руки англичан. Суд и приговор снова принадлежат союзным правительствам.

Второй остров Святой Елены

Больше надежды не было. Смертельно перепуганные Бонапарты, опережая события, добровольно отрекаются от всех прав. Они согласны на любые условия, ограничения, запреты, лишь бы выжить, лишь бы не оказаться в положении того, кому они обязаны всем своим былым благодеянием, — в положении Наполеона. Лишение титулов — и каких пышных! — былых почестей (императорских!), владений, богатств, пенсий, расселение в разных городах, странах, без права переездов, тем более встреч, даже в случае болезней, даже перед лицом надвигающейся смерти. Они не сентиментальны и не склонны преувеличивать родственных чувств. Только осуждение, только общая опасность становятся первой, по-настоящему объединившей их (надолго ли?) связью.

Что для них в эти дни Гортензия? Вчерашний деятельный соперник, но и сегодняшняя реальная опасность. Когда-то спор с ней был нескончаемым озлобленным спором о влиянии на императора. Как определить, выигрывала ли его Гортензия? Во всяком случае, это она остается около Наполеона до последних дней его власти, в тревожном напряжении ста дней. Семья Бонапартов выжидала, прикидывала, рассчитывала; Гортензия действовала, и почем знать, успокоится ли в своей деятельности и дальше. «Остается королева Гортензия», — слова Пия VII были признанием ее значения, роли. Они же становились и приговором. Все три сестры Наполеона могут находиться в разных европейских городах. Из них Полина, некогда связанная, по мнению молвы, с братом далеко не братскими узами, теперь предусматри-

тельно мирится с оставленным мужем и начинает с ним второй медовый месяц. Старший из Бонапартов, Иосиф, в Северо-Американских штатах под именем графа Сюрвиллье. Братьям Жерому и Люсьену назначаются определенные места жительства, Луи получает разрешение на Италию. Впрочем, стоит ли о нем вообще говорить! Паралитик с отнявшимися руками, передвигающийся на носилках или в инвалидном кресле, — какую он может представлять опасность!

«Остается Гортензия» — и вот для нее-то союзные правительства не могут найти соответствующей меры не столько наказания — пресечения. Изолировать, лишить связей прежде всего с Францией, с солдатами Первой империи, но и со всеми теми, кому близки идеи изгнанника с острова Святой Елены, а таких немало, и найти их ничего не стоит в любой из европейских стран.

Власти отдельных стран не жалеют усилий, чтобы не брать на себя обязанностей надзора за весьма беспокойной политической ссыльной, тем более что внешне место ее заточения ни в чем не должно напоминать тюрьмы — без высоких стен, стражников и решеток. К тому же Гортензия и не скрывает своих позиций. Обязана ли она подписывать петицию семьи Бонапартов о смягчении условий заключения Наполеона на острове Святой Елены? Конечно, нет. Как и Евгений Богарне, единственный, кстати сказать, из наполеоновского окружения, продолжающий сохранять хорошие отношения со всемогущим Александром I. Но брат и сестра без малейших колебаний ставят свои подписи, впервые после падения империи объединившись, пусть символически, с бонапартовским кланом.

Да и что подписи, когда Евгений Богарне находит предлог для личной встречи с русским императором, направляющимся на конгресс в Верону. Пять часов в придорожной корчме длится их разговор, правда так и не принеший облегчения Наполеону. Александр неумолим, да и вряд ли может поступить иначе: Франция кипит недовольством, а бонапартистские идеи коснулись всей Европы.

Гортензия одинаково нежеланная гостья и в Италии, куда стремится попасть и где имя Наполеона обретает смысл понятия свободы, и в Вене, где австрийский император и не думает вспоминать о той поддержке, в которой Гортензия, одна из всей бонапартовской семьи, не отказала свергнутой с императорского трона его дочери Марии Луизе. У союзных правительств остается единственная возможность — прямого приказа, а для этого удобней всего Швейцария, слишком незначительная в европейском розыгрыше сил, чтобы не подчиниться каждому их требованию, чтобы сопротивляться. В этом, «швейцарском», варианте Гортензии даже разрешено высказывать — само собой разумеется, в строго установленных пределах — личные пожелания. Пусть бывшая королева испытает иллюзию свободы и потеряет свою настороженность.

Местечко Констанца? Пусть будет Констанца. Гортензия думает о близости к брату — Евгений Богарне женат на дочери баварского короля — и к своей двоюродной сестре Стефании, удочеренной некогда Наполеоном и ставшей по мужу герцогиней Баденской. Гортензия рассчитывает на известную снисходительность баденского

правительства и скрытую благожелательность баварского короля — значение самого Евгения слишком ничтожно. Зато союзные правительства рассчитывают на свою тайную полицию. Ни Баденское герцогство, ни Бавария практически ничем не могут им грозить.

Итак, Швейцария, кантон Тургау — как окончательное решение судьбы бывшей королевы. Здесь предстоит ей провести свои последние двадцать лет. Снеговые вершины гор. Медлительный разлив рек. Виноградники. Очень старые замки на берегах Боденского озера. Бюргерское довольство виноделов, сыроваров, ремесленников, торговцев. Жизнь — будто остановившаяся в своем течении много веков назад, когда строились, оборонялись, кипели жизнью сегодня наполовину разрушенные, опустевшие замки.

Гортензия обращает внимание на один из них — на самом берегу озера, которое иначе, по старой традиции, называют Констанцским, вдалеке от больших селений, среди буйно разросшегося запущенного парка. Он так близок от Констанцы и так, кажется, далек от бесконечных наблюдающих, не доверяющих или просто любопытствующих глаз. Париж предупреждает сомнения кантона: желанию Гортензии не надо препятствовать. Одиночество, скрытость от посторонних — только фикция перед лицом возможностей тайного политического сыска. В действительности все здесь обернется против бывшей королевы. «Это должен быть второй остров Святой Елены», — объясняет растерявшимся швейцарским властям Париж. Никаких незамеченных посетителей, никаких неучтенных встреч, никаких непере-

сказанных разговоров — на то и существует тщательно подобранная прислуга, — никаких доставленных или пересланных обычной почтой писем. В корреспонденции парижское правительство и вовсе не решается положиться на усилия местного сыска. Все письма должны пересылаться прямо в Париж и просматриваться в самом Париже. Если Гортензия в конце концов и догадается о сомкнувшемся вокруг нее кольце, это тоже не нарушит планов людей, определивших ее пребывание в замке Арненберг.

«Ее разбитое сердце...»

Официальные историки готовы бесконечно оправдывать одинокую королеву, сочувствовать ее незадачливой женской судьбе. Какая ей разница, где жить. «Она поглощена только своими несчастьями и разбитым сердцем», — напишет наш современник, историк Анри Бордо, так и назвавший свое исследование — «Сердце королевы Гортензии». Брак с нелюбимым и взбалмошным Луи в то время, когда она еще не любила, — подобное подозрение в отношении родственников пуритански настроенного императора само по себе недопустимо! — но готова была полюбить героя наполеоновских битв маршала Дюрока. Разрыв с действительно любимым (как-никак отец последнего, тщательно скрываемого сына Гортензии!) графом Флаго, который предпочел связи с опальной сторонницей теперь уже окончательно сломленного императора женитьбу на деньгах. Нет, Гортензии действительно было что оплакивать в тиши Арненберга.

Уединение — единственная и какая же горькая отрада разбитого сердца. И разве не скажет сама Гортензия приехавшему ее навестить в изгнании блестящему парижскому адвокату и литератору Жан-Жаку Кульману: «Как хорошо себя чувствовать одинокой. Это причиняет боль, но это возвышает. И это всегда доступно». И пораженный гармоническим сочетанием стынущих под ноябрьским небом вод озера, облитого медью осеннего парка, всего облика начинающей стареть женщины, Ж.-Ж. Кульман старательно запишет в дорожном дневнике необычные и романтические слова.

Все так. Но, «случайно» опрокинув багаж едущей в Париж по личным делам чтицы Гортензии — Элизы Кошлен, давно подозреваемой в бурной и скрытой деятельности, полиция находит в нем двадцать семь писем бывшей королевы. Такая удача не повторится. Обитатели Арененберга учтут и возможные несчастья с каретами, и неумное любопытство политического сыска. И хотя обыск вещей каждого, кто выезжает из дома Гортензии, станет правилом, уловы полиции сойдут на нет. Зато рядом с Арененбергом появится другое, как определяют его агенты, «гнездо бонапартизма» — замок Вольфберг. Кто мог запретить обзавестись собственным домом вышедшей замуж и к тому же оставившей службу у королевы Элизе Кошлен?

Мадам Элиза Кошлен-Паркен — ни в чем не замешанная добропорядочная обывательница, и не ее вина, что стесненные материальные обстоятельства вынуждают господина Паркена, бывшего капитана наполеоновской армии, курсировать по своим, коммерческим, делам между

Констанцей и Парижем. Нельзя счесть преступлением и безмерное гостеприимство Паркенов, превративших свой дом в настоящую гостиницу для приезжающих в Арененберг. В конце концов, и оно может быть истолковано как дополнительный источник доходов бывшего ветерана и его предприимчивой жены. Другое дело — сколько хлопот это прибавляет сбивающейся с ног местной полиции!

Чего стоит одно лето 1829 года с его угрозой настоящего заговора «литераторов», расположившихся именно в Вольфберге. Участников заговора удастся установить. Но разве не подозрительно уже одно то, что сами они не хотят себя называть, выходят из дому только в сумерках, а целыми днями пишут и разговаривают при тщательно опущенных шторах? Здесь и известный поэт-романтик Казимир Делавинь, чьи стихи войдут в хрестоматии по литературе всех французских школ, и его брат драматург Жермен, и историк Вутье — о нем полицейские агенты успеют добавить, что «он пишет работу о греках», — драматурги Мелесвиль и прославившийся своими комедиями Скриб. Попытка заговора для полиции очевидна, да к тому же достоверно и то, что его участники пишут историю Наполеона.

Положение узницы (или — официально — хозяйки) Арененберга не секрет для Франции и для всей Европы. Всякие контакты с ней ставят под сомнение политическую и гражданскую благонадежность человека в представлении властей. Но что это может изменить? Арененберг становится местом паломничества, и число паломников год от года растет. Меланхолическая грусть бывшей ко-

ролевы и покинутой любимыми женщины — неужели она одна способна привести сюда скептического и беспощадного в своих суждениях Жана Бушона, историка античности и Средних веков? Но как раз Бушон, с трудом добившись встречи с Гортензией, оставит самый восторженный отзыв о встречах с ней, ее суждениях, мыслях. А ведь он спокойно и равнодушно отстраняет от себя все романтические очарования Арененберга: «Я не поэт, не художник, не минералог; единственная вещь, которая открывает передо мной бесконечные горизонты,— это познание человека. Я хочу его видеть со всех точек зрения, во всех ситуациях, на всех ступенях цивилизации. Всегда можно открыть что-то новое в этом мире интеллекта...» Гортензия, по признанию Бушона, — одна из интереснейших таких страниц.

Сколько в это время Александру Дюма — восемнадцать? Но спустя одиннадцать лет вчерашний мальчишка, успевший ослепить Париж блестящим каскадом своих романтических драм, — как много значили для восхищенных современников «Генрих III и его двор», «Кристина», «Антоний», «Карл VII среди своих вассалов», «Ричард Дарлингтон», успешно соперничавшие с «Эрнани» В. Гюго! — осуществит заветную мечту и выйдет из коляски у ворот Арененберга. Он готов броситься на колени перед вышедшей навстречу Гортензией, и только неловкость от присутствия посторонних удержит этот первый порыв.

Конечно, писателю-романтику к лицу восторженная приподнятость чувств, иначе как написать посвященные былой королеве строки: «Ты не ошибся, молодой человек,

это голос твоего детства, изящный и добрый; поэт, это звучание голоса, это взгляд, которые ты видел во сне у дочери Жозефины; дай же свободно биться твоему сердцу: один раз реальность оказалась на высоте мечты. Смотри, слушай, будь счастлив».

Но ведь и романтическая восторженность должна иметь свою почву. Наполеона больше десяти лет нет в живых, да и Дюма никогда не склонен был верить каким-то особым отношениям с ним Гортензии. К тому же самой Гортензии далеко за сорок. Она заметно постарела и стоит на пороге болезни, которая сведет ее в могилу. Дюма подмечает и рассеянную усталость взгляда — идет 1832 год, — и ослабевший надтреснутый голос, которым она поет по его усиленной просьбе свои известные романсы: «Вы идете за своей славой... но не забывайте меня».

Нет, дело не в легенде непреходящей молодости и красоты — ее, подобно многим своим современникам, Дюма подарит подруге Гортензии, прославленной мадам Рекамье («она была вне возраста, воплощенная грация»). «Голос твоей юности» — это голос связанных с молодым Наполеоном и продолжающих жить во Франции республиканских мечтаний. Какая здесь существовала связь, но только сразу после визита в Арененберг Дюма-отец начинает писать вместо пьес увековечившие его исторические романы: вечера в Арененберге не прошли бесследно. Воспоминания о Гортензии воплотятся, кажется, во всех его героинях — переменчивых и верных, прекрасных и не знающих разрушительной силы лет, влюбленных и всегда причастных к политическим делам. Пожалуй, только один

эпизод будет непосредственно напоминать о тайнах замка на берегу Боденского озера — Атос, представляющий герцогине де Шеврез юного виконта де Бражелона.

Лишь раз, единственный раз Гортензии довелось увидеть своего последнего, рожденного под покровом глубокой тайны сына. В 1829 году проездом к целебным водам королеве нанесет визит граф Флаго в сопровождении 18-летнего юноши с пышным и никогда не принадлежавшим ему по рождению титулом герцога де Морни. Официальный визит, ничего не значащий разговор и поспешный отъезд равнодушных посетителей — Флаго не собирается давать поводов для неудовольствия своей высокочтимой супруге, а Шарль де Морни еще не знает, кто для него герцогиня Сен Ле.

Черты Гортензии угадываются и в приведенном здесь же портрете герцогини де Шеврез: «На вид ей можно было дать не больше тридцати восьми — тридцати девяти лет, тогда как на самом деле ей минуло сорок пять. У нее были все те же чудесные белокурые волосы, живые умные глаза, которые так часто широко раскрывались, когда герцогиня вела какую-нибудь интригу, и которые так часто смыкала любовь, и талия, тонкая, как у нимфы, так что герцогиню, если не видеть ее лица, можно было принять за молоденькую девушку».

Историк, поглощенный в конце концов мыслями о прошлом, писатель-романтик, в поисках вдохновений готовый принять желаемое за действительное, — в объективности их мнений можно усомниться. Но рядом отзыв другого человека, недоброжелательного к Гортензии, опасливого в отношении всех ее действий, тем более на-

стороженного ко всему, что касается наследования прав Наполеона, — дойдет ли когда-нибудь до этого дело или нет. Жером Бонапарт признается: «Салон Гортензии, в который очень стремились попасть в Риме, превратился в центр бонапартизма не только того, который плакал кровавыми слезами над несчастьями общего порядка и мечтал о мести, но бонапартизма, более обращенного в будущее, омраченное сожалениями о прошлом».

Слова свидетелей, очевидцев, но теперь рядом с ними оказывался и найденный в Москве альбом. Что мог он сказать и мог ли среди множества разночтений образа, действий и смысла поступков ставшей почти-легендарной королевы?

Слова альбома

Золотая паутина тисненого узора. Перетершаяся на углах вишневая кожа. Пожелтевший муар подкладки. Стопка листов — синеватых, белых, зеленых, так и оставшихся не заполненными до конца... В нем есть особенность, которая останавливает внимание, может быть, не сразу, и все же не позволяет о себе забыть.

Альбомы начала прошлого века — смесь удавшихся и неудавшихся рифм, экспромтов, набросков, чаще живых, реже талантливых, совсем редко по-настоящему умелых. Мимолетные впечатления, случайные и давние знакомства — «заметки сердца», но всегда с оглядкой на гостиную, где им приходилось быть, на зрителей и посторонних. В московском альбоме нет стихов — нет и рисунков «для себя». Почти каждый лист неповторим в своей про-

фессиональной завершенности. Самой Гортензии, ее двоюродной сестры Стефании Богарне нет в словарях художников, но их пейзажи не уступают работам мастеров — превосходная выучка учениц И. Изабе. У Гортензии хватило умения передать ее и своим сыновьям: Наполеон Шарль и Луи Наполеон оставили в альбоме не менее интересные наброски. Еще одно открытие — племянница маршала Ней, сумевшая и вовсе ввести в заблуждение историков искусства.

Карандашный портрет одного из парижских собраний с четкой подписью «Гамо» заставил включить это имя во все сводные справочники европейского искусства: мастерство рисовальщика говорило само за себя. Просто Гамо, без имени и даже инициалов, без каких-либо сведений о жизни, — конечно, этого мало даже для самой скупой энциклопедической справки. Тем большим становился соблазн домысла. Само собой разумеется, мужчина. Предположительно, член семьи художников, носящих эту фамилию и весь XVIII век проработавших в Лилле, хотя никаких сведений о том, чтобы кто-нибудь из них покинул родной город и оказался в окружении Наполеона, и не существовало. А вот московский альбом содержит в себе разгадку, и какую!

Великолепный акварельный портрет сына Наполеона от второго брака, десятилетнего Орленка, несет на себе ту же подпись, что и парижский карандашный портрет — «Гамо», но на этот раз с именем. Клеманс Гамо — женщина! Мало того. На одном из ее рисунков в альбоме — замок, где жил Ней, — есть надпись, которая поясняет, что художница была племянницей самого маршала.

Конечно, здесь можно разглядеть и хронику жизни Гортензии, биографическую канву за десять лет, хотя и не совсем обычную в своем предельном лаконизме. Вид Арененберга, подписанный Шарлоттой Бонапарт. Дочь старшего брата Наполеона вернулась из Северо-Американских штатов в Европу, чтобы стать женой одного из своих двоюродных братьев. По завещанию бывшего императора, его племянники должны заключать браки между собой, и семья с неожиданным рвением начинает выполнять каждое из пожеланий Наполеона. Почему знать, может быть, именно в них Бонапартам стал видаться путь к исчезнувшему престолу. Поэтому Шарлотта выходит замуж за среднего сына Гортензии.

Замки на берегах Боденского — Констанцкого — озера, и среди них тот, в котором был заключен в ожидании казни Ян Гус, — его Гортензия все годы видела из окон Арененберга. Улочки Рима — сюда бывшей королеве разрешалось время от времени приезжать для свиданий со средним сыном: по условиям развода он рос у отца. Луи Бонапарт куда как неохотно подчинялся необходимости этих встреч, особенно тщательно следя, чтобы ненароком не столкнуться с Гортензией.

Впрочем, нежелание видаться с женой никак не распространялось на отношение к младшему, воспитывавшемуся у нее сыну. Будущий Наполеон III постоянно переписывается с отцом. И если в какие-то минуты Луи отрекался от своего отцовства, то скорее всего это были минуты истерических припадков. По мере того как припадки учащались, некогда неотразимый Луи все упорней старался замкнуться в четырех стенах, прекратить всякие связи с

внешним миром. Его единственное желание — быть как можно скорее и навсегда забытым. Луи вынужден нарушить свое одиночество, чтобы навестить дряхлеющую «госпожу-мать». Во дворце Летиции Бонапарт царит угрюмая пустота, но Луи не выдерживает и тех немногих дней, которые предполагал у нее провести. В свое оправдание он напишет, что должен «дать отдых голове и рассудку от голосов женщин и восторгов детей».

Листы альбома подтверждают — римские поездки Гортензии не отличались регулярностью. Гортензия никогда не могла рассчитывать заранее на приезд в Рим. В ноябре 1825 года, после многомесячного ожидания разрешения на поездку, которое отдельно подтверждало каждое из союзных правительств, Луи Наполеон напишет в письме отцу: «Скоро понадобится созывать конгресс, чтобы мы могли переехать с места на место!» Но ведь дело происходит накануне событий на Сенатской площади Петербурга, накануне выступления наших декабристов в общей волне нараставших во всей Европе революционных настроений. Тем упорнее старается Гортензия вырваться из Швейцарии, тем дольше пытается задержаться в Риме. Мир открывался для нее в Риме гораздо ярче и шире — достаточно обратиться к тому же альбому.

Дедре, тот самый Дедре, который построит вскоре в Париже так называемый Замок у моста, многочисленные виллы, концертный зал Тетбу, начинал свой путь как рисовальщик. Он путешествует по Италии, оказывается, в Истрии, бродит по Греции, добирается до берегов Малой Азии. Края, где зарождается ветер свободы и где он живет в памятниках прошлого, — смысл путевых зарисовок Дед-

ре, которые приносят своим изданием европейскую известность начинающему архитектору. Так смотрится в московском альбоме и его пейзаж — буря у берегов Греции. Бушующие волны, полные ветром паруса борющихся со стихией баркасов, и на вершине утеса, в сиянии прорвавшихся сквозь грозовые тучи солнечных лучей; колоннада храма — символ золотого века Перикла.

Дедре совсем по-особенному видит и Рим — образ не расцвета, а упадка бывшего могущества. Часть погруженной в тень стены Колизея. Пустынный перекресток словно торопящихся уйти в сторону улиц. Глухие стены отвернувшихся домов. Ростки зелени на развалинах забытого храма...

Казалось бы, ничего не говорит о былом величии империи заброшенная гробница, с которой предание связало имя Нерона. Но и в этом затерявшемся у обочины пропыленной дороги обелиске больше внутренней значительности, чем у расположившегося рядом монастыря, — пейзаж, выполненный другим архитектором.

Или римская площадь Монте Кавалло, заставляющая вспомнить о многих страницах истории, соединенных здесь безразличной рукой забывчивых потомков. Обелиск из мавзолея императора Августа, гранитная чаша фонтана, перенесенная с Форума, скульптурные группы Диоскуров — Кастора и Поллукса, сдерживающих могучих коней, — новая жизнь давно ушла отсюда и растворилась в предзакатной дымке лежащего глубоко под Квиринальским холмом Вечного города.

Есть и другой Рим, который видят оставляющие в альбоме свои рисунки архитекторы. Франсуа Виллен, пле-

мянник прославленного зодчего наполеоновской империи Шарля Персье, одного из создателей так называемого стиля ампир, посвящает свои римские пейзажи Анжелике. Этому имени не носил никто из окружения Гортензии, но это имя одной из героинь «Неистового Роланда» Ариосто. Анжелика, подруга всеми забытого в несчастье и воскрешенного ее любовью Медора, — образ, ставший нарицательным в противоречивом сочетании нежности и мужества, слабости и стойкости. И вот мир Анжелики — Гортензии — улица у церкви Тринита дей Монти. Венчающая одну из красивейших площадей Рима — площадь Испании, Тринита Дей Монти рисуется обычно в «перспективе «фонтанов и окруживших ее лестниц. Виллен отдает предпочтение боковой улочке. Здесь рядом место встреч итальянских карбонариев и французских бонапартистов. Антуан Гарно, будущий строитель театра в Лионе и гробницы Луи Бонапарта в Сен Ле, рисует такое же место сборов на Аверо ди Джионо и у храма Сивиллы, где в апреле 1826 года под предлогом совместной работы с натуры и занятий музыкой несколько дней собирались многочисленные единомышленники Гортензии.

Топография, условно говоря, бонапартизма в Риме, а рядом — упрямая символика его надежд. О чем могут говорить рисунки будущих статуй и барельефов — все из мифологии, все такие далекие в своем непогрешимом совершенстве от простого намека на обычную жизнь? Смерть Гиацинта, Сократ и Алкивиад, Аристей, которого утешает его мать, Меркурий и Аргус. Но для человека тех лет мифологический образ не имел однозначного про-

чтения. Смерть любимца Аполлона, Гиацинта, обернулась рождением новых, щедро усыпавших землю цветов — символ возрождения через гибель. И разве не об этом думают те, кто приезжает к Гортензии? Автор композиции Жюль Рамей, создавший впоследствии скульптурное убранство двора Лувра и представленный во дворце своими работами, продолжает семейную традицию. Он ученик своего отца, скульптора Первой империи Клода Рамея, создавшего мраморные статуи Наполеона и Евгения Богарне.

«Сократ и Алкивиад» постоянного участника парижских салонов Поля Лемуана — это противопоставление до конца верного своим идеям философа его ученику, который способен на любое предательство ради жизненных удовольствий. «Мать, утешающая Аристея» — легенда о погибших и чудесно возродившихся в бесчисленном множестве пчелах. Или композиция того же автора, скульптора Бернара Серра, «Меркурий и Аргус» — прямой намек на заключение и будущее освобождение Гортензии. Работы Б. Серра — сегодня неотъемлемая часть Парижа: статуя Мольера на улице Ришелье, барельефы Триумфальной арки на площади Карусель, фигура Лафонтена в Институте Франции.

Наконец, о ком, как не о Гортензии, говорят и такие заимствованные из истории Франции сюжеты, вроде «Бланки Кастильской, молящейся со своими детьми» драматурга и живописца Пьера Ревуаля. Бланка Кастильская, сумевшая восстановить могущество французского государства, и ее два прославившихся участием в Крестовых походах сына — Людовик IX и Карл Анжуйский. А Доме-

ник Энгр оставляет в альбоме карандашный набросок своей картины «Дон Педро присягает в верности юному Генриху IV». Для Гортензии до конца было важно не выдвижение собственных сыновей, но их непременно участие в связанном с Бонапартом движении. Символом этого движения оставался до своей смерти Орленок.

Альбом можно перелистывать, рассматривать по отдельным рисункам, его можно и разгадывать. И одна из самых интересных разгадок — подбор представленных в нем имен.

И если чреват был немалыми неприятностями приезд в Арененберг для известного драматурга Дюма-отца или не менее известного поэта и к тому же высокопоставленного чиновника времен Реставрации Шатобриана, то каким же риском для будущей карьеры, заказов, положения в художественной жизни Франции становилось для молодых художников постоянное участие в кружке Гортензии. Большинство авторов рисунков московского альбома со временем приобретут достаточно громкие имена, но в 1820 годах почти все они выученики Парижской школы искусств, получившие так называемую Римскую премию и вместе с ней право на многолетнее пребывание в Италии за счет государства. Государства, возникшего на обломках наполеоновской империи! И оказывается: тяга к олицетворявшимся Наполеоном республиканским идеалам неизмеримо сильнее простой обывательской предусмотрительности.

К французам присоединяются художники из большинства европейских стран. Здесь и голландец Абрахам

Теерлинк, ставший популярным руководителем многолюдной художественной школы, которая привлекала преимущественно англичан и испанцев. Здесь шведский исторический живописец Яльмар Мернер, бывший офицер шведской армии. Здесь большая группа итальянских мастеров — провозвестников итальянского импрессионизма. Трудно сказать, что имело для них большее значение — занятия искусством или участие в освободительном движении. Во всяком случае, талантливый жанровый рисовальщик и пейзажист Антонио Порцелли по-настоящему обращается к живописи только после смерти Гортензии, а Ж. Колло, оставивший в альбоме серию интересных пейзажей, не менее известен как поставщик оружия в Италии сначала наполеоновской армии, позднее — гарибальдийцам. «Это он — тот, кто определил всю мою жизнь», — слова Гортензии о Наполеоне, сказанные в минуту откровенности очень близкому человеку, можно было трактовать по-разному, усматривать в них различный смысл. Но не заключается ли их действительная разгадка в ином? Истлели венки, легшие в 1837 году на гроб бывшей королевы, но не исчезла память о надписях, которые они на себе несли: «Ветераны Первой империи — королеве Гортензии». Такой почести не удостоивался никто из прямых родственников Бонапарта. И другая безымянная надпись, авторы которой после событий Июльской революции не решились открыто назвать себя: «Друг Европы, о тебе наши слезы». Роль Гортензии, угаданная Пием VII, осталась ее ролью до конца.

Конец жизни виконта де Бражелона

Романтическая встреча Атоса, виконта де Бражелона и герцогини де Шеврез — что в действительности рассказала королева Гортензия Дюма о похожем на нее эпизоде своей жизни, в чем призналась, что скрыла? Ее особенность — никогда не отзываться дурно о друзьях, верных и неверных, бывших и настоящих. Гортензия всегда словно набрасывает акварельный портрет — несколько дорогих черт и легкая, все стирающая дымка времени. Не все подробности нужны, не все стоит поднимать со дна израненной памяти.

Герцог де Морни узнает о своем происхождении только из завещания королевы. Сохранение тайны после смерти становилось бессмысленным. К тому же де Морни, лихой вояка на полях сражений Алжира, — Гортензия это знала — нуждался в деньгах. Сорок тысяч франков ежегодной ренты — для него лучшее материнское благословение. Он может оставить армию и пуститься во всяческого рода спекуляции, завести сахарные заводы, начать пускать капитал в оборот. Ему не всегда хватает деловой сметки, но это с лихвой окупается смелостью, склонностью к риску. «Кто не рискует, не выигрывает», — его любимая французская поговорка.

Вместе с рентой приходит и приобщение к бонапартовской семье, но это в будущем. В момент смерти матери старшего брата, будущего Наполеона III, нет в Швейцарии. Безрассудная и неподготовленная попытка захвата власти в 1836 году стоила ему высылки в Америку. Он безрассудно понадеялся на то, что одно его появление в ка-

зармах Страсбурга в костюме Наполеона, с императорскими регалиями и тщательно разученной манерой говорить увлекут солдат за тенью императора.

Де Морни с равнодушным любопытством наблюдает за новой попыткой сводного брата, когда тот в год перенесения в Пантеон праха Наполеона высаживается с ничтожной горсткой сторонников в Булони, обогатив реквизит живым символом империи — ручным орлом, который в нужные минуты должен парить над его головой. Но даже чудеса дрессуры не могут взволновать солдат. Снова арест, суд, приговор — пожизненное заключение в крепости Гам. Де Морни делец. Он предпочитает финансовые махинации и постепенное завоевание позиций на политическом поприще, удовлетворяясь на первых порах положением депутата. Что касается театральных склонностей, то он удовлетворяет их сочинением веселых водевилей. Его литературное имя Сен-Реми пользуется известным успехом, как и либретто для оперетт Оффенбаха.

Но Шарль-Луи-Наполеон не думает мириться с участью узника. В 1846 году ему удастся бежать из крепости под видом рабочего, через два года, после Июльской революции, он уже выдвигает свою кандидатуру на президентских выборах. Нелепая мегаломания? Ни в коей мере. Число голосовавших за сына Гортензии избирателей убедительно свидетельствует о его популярности: пять с половиной миллионов голосов по сравнению с двумя миллионами, которые удалось собрать всем остальным кандидатам. Отныне союз братьев целесообразен для обоих,

тем более что де Морни успел растерять все свои капиталы. Его единственный шанс — политическая деятельность. В 1851 году он в качестве министра внутренних дел помогает брату восстановить императорский престол. Император Наполеон III, как утверждают сыновья Гортензии, — единственный залог сохранения столь необходимой народу свободы.

Сыновья Гортензии... Они не скрывают больше своего родства, но не находят ни времени, ни желания заботиться о памяти матери. При первой же возможности Шарль-Луи-Наполеон избавляется от Арененберга, ничего не сохранив из личных вещей и архивов Гортензии. Все достается новому владельцу вместе со стенами замка. В качестве императора у него тем более много забот, и первая, как когда-то у настоящего Наполеона, — вопрос о престолонаследии. До сих пор Наполеон III жениться не успел, теперь женитьба должна его сблизить с правящими европейскими домами. Но все попытки сватовства нового императора встречают категорический отказ. Для наследственных монархов он всего лишь ничтожный, ничем о себе не заявивший выскочка, бог весть сколько времени способный удержаться на троне. Приходится удовлетвориться представительницей одной из древнейших испанских семей. Пышность имен и титулов должна заменить красавице Марии-Евгении царственное происхождение: графиня Теба, дочь графа Мануэля-Фернандо де Монтихо, герцога Пенеранда Порто-Карреро.

И первое же решение властной, не терпящей возражений испанки — приобретение Арененберга и превраще-

ние замка в музей Гортензии. Культ покойной свекрови — его созданию императрица Евгения отдается с нарочитым, не останавливающимся ни перед какими расходами восторгом. Об архивах Гортензии начинают писать, к ним получают доступ газетчики, литераторы, историки. Аренбург снова привлекает многочисленных посетителей.

Братья идут по политическому поприщу, неизменно поддерживая друг друга. Де Морни трудно отказать в здравом смысле, и это он советует Наполеону III проявлять большую мягкость, либеральность, терпимость в противовес искавшей для мужа громкой военной славы Евгении. У де Морни немалые возможности как у председателя Законодательного корпуса. Ему передаются все наиболее сложные поручения, и среди них поездка в Россию на коронационные торжества очередного императора — Александра II. Братья согласны в том, что отношения с Россией нуждаются в самом срочном улучшении. Задача не из простых, недаром де Морни проводит в Петербурге около года и заканчивает свою миссию совершенно неожиданным образом: убежденный холостяк, он женится на княжне Трубецкой. Во Францию полномочный посол возвращается с молодой женой, в которой императрица Евгения находит деятельную союзницу по восстановлению культа Гортензии.

Брак де Морни оказался сравнительно недолгим. Через несколько лет того, кто стал прообразом виконта де Бражелона, не было в живых, а в 1870 году перестал существовать и возрожденный братьями императорский дом. Поражение под Седаном в развязанной благодаря неудач-

ной политике Наполеона III франко-германской войне положил конец его правлению. Члены семьи были разбросаны по европейским странам, вдовствующая герцогиня де Морни вернулась в Россию вместе с унаследованным после мужа имуществом, в том числе и альбомом Гортензии.

Дальше было подмосковное Суханово, где жили наследники вдовы, было Замоскворечье.

У САМЫХ ЧИСТЫХ ПРУДОВ

— Вы переименовали свою газету, Дюма?

— Как видите.

— И, похоже, не улучшили себе этим настроения?

— И это правда.

— Но чем, по-вашему, «Монтекристо» привлекательнее для нашего непроходимо буржуазного читателя «Мушкетера»? Ваши романы одинаково знамениты.

— И да, и нет. Здесь есть принципиальная разница. Для автора, во всяком случае.

— Поделитесь же этим секретом.

— Без особого удовольствия, потому что во многом не уверен сам. Но по старой дружбе: «Мушкетер» напоминает о бескорыстии, «Монтекристо» для буржуа, прежде всего о несметных и неведомым путем свалившихся сокровищах.

— Но ведь их появлению предшествовал замок Иф.

— Психология буржуа до предела проста: пусть замок Иф остается на страницах книги, а вот богатства!..

— Дюма, я не верю себе! Вы настолько готовы идти навстречу этим разьевшимся свиньям? Вы?

— Э, мой друг, заголовок — еще не содержание газеты. Пусть сначала они раскошелятся на мой издательский труд, а там будут уже разбираться.

— Вы хотите сказать, что так заинтересованы в деньгах?

— И не скрываю этого. Времена моих романов прошли. Все они как прекрасное воспоминание о том, что может в человеке быть скрыто. На время или навсегда. Моя газета находится при последнем издыхании, а мои

литературные замыслы явно не соответствуют сегодняшнему времени.

— Но ваши сказочные капиталы...

— Гонорары никогда не бывают сказочными. Издательское дело может приносить настоящую прибыль только самим издателям. А я — я постоянно выпутывался из нарастающих долгов и литературных обязательств. Писал, писал и снова писал, еле успевая пополнять копилку впечатлений.

— Полагаю, вам немало стоило и содержание сына. Его заработки, уверен, не соответствовали его заслуженной славе. А борьба, связанная с «Дамой с камелиями»! Но, знаете, я увидел ее издание в Москве, в руках, конечно же, графини Ростопчиной.

— Графини? И каково же было ее суждение? Мне это крайне любопытно.

— Послушайте, Дюма, но вы же были в Москве после выхода романа и, значит, могли сами услышать суд Ростопчиной.

— Возможно, у нас не хватило времени.

— И тем не менее. Графиня относилась к вам с таким доброжелательством.

— Но может быть, именно поэтому.

— Вы предполагаете, что такой блистательный роман мог оставить ее равнодушной? При ее литературном вкусе? Это невероятно!

— Не литературный метод, скорее — сюжет и героиня.

— А знаете, вы может быть и правы. Додо Сушкова была от рождения до смерти удивительно цельной натурой.

— Вы хорошо и долго знали графиню?

— Как вам сказать, долго — несомненно. Хорошо ли? И дом ее родителей, и тем более дом Ростопчиных всегда были широко открыты. В них принимали всю Москву. Правда, не из числа сплетников, но всегда людей, связанных с литературой. У Додо была удивительная семья — не стать литератором она просто не могла.

— Среди ее родных было много профессиональных литераторов?

— Нет, конечно. Профессиональные занятия подобного рода укоренились в Москве уже после ее детства, конечно, допускались среди дворян, но с большой натяжкой. Когда они печатались, косых взглядов было не избежать, а уж разговор о гонорах был верхом неприличия. Тут двери многих домов могли перед тобой наглухо закрыться. Но в чем-то очаровательной Додо повезло: литературных занятий не избежал ни один из членов ее непосредственной семьи. Впрочем, семьи, в привычном представлении, у девочки где-то с шести лет не было.

— Смерть родителей?

— Матери. Отец чадолюбием не грешил и предпочитал брать постоянные служебные назначения вдали от старой столицы. Додо ко всеобщему удовольствию оказалась в семье матери. Многолюдной. Шумной. И не слишком занимавшейся ребенком.

— Девочкой пренебрегали? Или отдали на откуп гувернанткам?

— Ни то, ни другое. У Додо были отличные учителя. Ее обучали, в этом я уверен, на университетском уровне истории, географии, нескольким языкам, — она прибавила к

ним еще по собственной воле английский и итальянский, — и как у всякой светской барышни, музыке и танцам. Додо всегда восхитительно танцевала и умела повторить самое замысловатое па балетной дивы. В театр ее возили постоянно — это было обязательной частью тогдашнего московского образования. Она на всю жизнь сохранила любовь к актерам и понимание их ремесла.

— А свобода, ее личная свобода?

— Вы попали в точку: свободы не было по определению, тогда как Додо ее жаждала. Она вспоминала, каким счастьем было после этого бесконечного множества уроков сбежать в огромную сумрачную библиотеку, которая была в их доме, и спрятаться в уголке с очередным найденным томом.

— Ее чтением никто не руководил?

— В том-то и дело, что нет! До библиотеки у старших явно не доходили руки, а молодые дяди охотно подбрасывали племяннице вольнодумные издания. Додо говорила, что самой большой ее мечтой было забраться в уголок их огромного сада с чтением — там были такие замысловатые аллеи, взгорки, беседки, даже фонтанчики, — но уж здесь ее непременно бы заметили и прислуга, и сидевшая у окна своего кабинета бабушка. Додо применяла выражения, что читая, она для полного счастья «вспоминала воздух».

— Она настоящий поэт!

— В этом не сомневался даже Пушкин. Вы знаете, Дюма, что такое Пушкин для русских?

— Конечно, не в полной мере.

— Так вот, это благословение на место в истории, а он называл ее имя сразу после своего, и в этом месте Додо

не сомневался. Кстати, вообразите себе, их раннее детство прошло в удивительнейшем уголке Москвы. Вы знаете Чистые Пруды?

...Снег. Легкий. Искристый. В лучах проглянувшего солнца отливающий всеми красками радуги.

— Бабушка, вы разрешите нам с мадемуазель Жюли выйти на бульвар? Совсем ненадолго, бабушка?

— Тебе мало нашего сада, Додо?

— Но я все в нем знаю, каждую тропинку, а бульвар...

— Тебе нужны гуляющие?

— Просто посмотреть.

— А ты знаешь, Додо, мы поступим иначе. Маша, узнайте, чем занята наша почтенная Федосья Макаровна, и попросите ее ко мне.

— Нянюшка?

— Да, нянюшка, мой друг.

— Но не сказки же она мне будет рассказывать на бульваре!

— Конечно, нет. Федосьюшка, чем занималась? Не найдешь ли для нашей озорницы получасика?

— Для Додо всегда, барыня.

— Вот и отлично. Маша, одевай барышню, да не очень кутай — ей пешком идти. Чтобы удобно было. А мы с Федосьюшкой тут посекретничаем..

— О чем, бабушка, о чем?

— Подойдет время, узнаешь. Ты ей, Федосьюшка, о пустяках-то не рассказывай. Про историю больше вспоминай. Про церковь нашу, про пруды.

— А вдруг чего напутаю. Учености-то во мне, Мария Васильевна, никакой особой нет.

— Да и Додо еще мала. Просто, чтоб интерес у нее появился: не на наряды да кареты глядеть — о былом подумать.

— Бабушка, я готова! Нянюшка, куда сегодня пойдём?

— А это откуда ветер подует: чтобы щечки твои не приморозил. В переулки-то как свернем, там уж не страшно. Москву так строили, чтобы ветер-ветерок разгуляться не мог, всё бы в садах и домах путался. Человеку бы удобно было.

...Назвали же речку так смешно: Рачка. Потому что маленькая? Потому что вовсе и не речка, а ручеек? Вон, по ту сторону бульвара в садах начинается. А вот запрудили ее. Вода понадобилась. Нянюшка сказала, скот здесь били. Как страшно! Запах стоял — жить нельзя. А потом землю у Мясницких ворот светлейший князь Александр Данилович Меншиков купил. Дворец принялся строить. А какой же дворец, когда кругом не продохнешь! На свои деньги бойни далеко перенес, пруды почистил. Вот они и стали называться: прежде — Поганые, а после Меншикова — Чистые. Как слезка чистые. Народ что зимой, что летом толпами собирается.

Бабушка Марья Васильевна послушала, головой покачала. Все правда, да не вся правда. Те, кто убой скота устроил, над памятью народной посмеялся. Куда раньше текла Рачка через Покровку, вниз мимо Владимира в Старых Садах, мимо Ивановского монастыря к Васильеву лугу и там, где теперь улица Солянка, граница была. Страшная граница. Сама подумай: только до нее могли семьи воинов, уходящих на битвы, отцов и мужей провожать, в последний

раз обнять и благословить. Воинам больше оглядываться не положено было, а бабам да детишкам в голос реветь да родных звать. Так и окаменевали на долгие-долгие недели, пока войско вернется. Почты, Додо, не было. Своими глазами увидеть должны были, кто вернулся, кого на щитах принесли, а о ком и слух в дальних степях сгинул. И снова — в голос ни реветь, ни радоваться в Москве не полагалось. Припадут друг к другу — на том и конец.

— Бабушка!

— Что ты, Додо?

— Как страшно!

— Страшно? Неправильное слово ты сказала: тягостно. За землю свою шли, за других людей — конечно, тягостно. Почитать их надобно. Каждого, кто с такой мыслью крест на себя брал.

— А другие не брали?

— Другие — нет. У Господа всяких людишек полно.

— Но таких себялюбцев судить надо!

— Кому, Додо, кроме Господа?

— Каждому! Громко! Чтобы все знали!

...Снегу в этом году нападало, дворник едва успевает дорожки в саду прочищать. Сугробы выросли у подъезда только что не до второго этажа. Мужики лопатами широкими деревянными по сторонам прибивают, чтобы не рассыпались. Солнышка теплого ждут: подтаает снег, оледенеет ночами, так и оседать станет. Ручейки вдоль аллеек побегут. Быстрые. Говорливые.

Кое-где щиты деревянные обозначились, которыми вазы да и статуи прикрыты. Лапник еловый, что розовые кусты прикрывает, то тут, то там из снега торчит.

— Додо, я сегодня в церковь собралась. Пойдешь со мной?

— Бабушка! Конечно, пойду. А почему сегодня?

— Вот видишь, ты еще не научилась семейному распорядку. Впрочем, подрастешь, сама решишь, нужен ли он тебе будет.

— Но я же хочу учиться, бабушка!

— Хочешь? Ну, так должна я сегодня помянуть братца своего Александра Васильевича. За десять лет его до твоего рождения не стало, а для меня он все рядом. Да я так полагаю, потомки не сразу его забудут: Храповицкий, сенатор, статс-секретарь Великой Екатерины императрицы. День кончины его никогда не пропускаю.

— Высокий чин у него придворный был?

— Высокий. Да не в нем дело. Большими способностями в литературе твой двоюродный дед обладал.

— Сочинял?

— Сколько известно, только «Записки» о днях и делах императрицы. А вот свои рукописи государыня ему поручала править как есть все: и записки деловые, и указы, а уж о сочинениях и говорить нечего. Без его правки ни одно сочинение ее императорского величества не обходилось. Одно время и театрами управлять его поставила, да только там такие интриги начались, что Александр Васильевич чуть императорской благосклонности не лишился.

— А для себя так ничего и не писал?

— Как не писать! Писал. И в литературных спорах журнальных участвовал. Его самые знаменитые сочинители екатерининского века ценили. Ты их еще толком и не

знаешь. Тут и Гавриил Романович Державин, и Иван Иванович Дмитриев, и Яков Княжнин, и граф Хвостов.

— Но я же их в библиотеке найду, правда?

— Найдешь, если захочешь. Найдешь и другого братца Михайлу Васильевича.

— Так я же помню, он к нам приезжал. Конфеты мне еще в таких атласных коробочках дарил.

— И стихи он писал, и переводы умелые очень делал, а когда помер, скольких людей молить за себя заставил!

— Добрый был?

— Нет, Додо. Хлопотал, чтобы крестьян от уз рабства по всей России освободить. До императорского сердца не достучался, зато всех своих крепостных освободил. Двести шестьдесят душ! С завещанием даже самодержцу не поспорить. Так они в благодарность памятник своему благодетелю на свои средства, на последние копейки соорудили.

— А ваши сочинения, ваши стихи, бабушка?

— Откуда это ты доведалась, что я их пишу? Это все наша нянюшка проговорила?

— Нет, нет, бабушка, я случайно услышала, как брат Дмитрий прочел несколько строк и на мой вопрос ответил, что они ваши. Как бы я хотела их прочесть!

— Дружочек мой, вот об этом не проси. Да, я пробую свои силы в поэзии, но тебе портить вкус на моих опытах не след. Учиться следует на высокой поэзии, и ее кругом предостаточно.

— Но мне...

— Любопытнее бабушкины опусы, не правда ли? Ответ мой останется неизменным. А между тем мы с тобой уже и пришли. Ты все знаешь об этих местах?

— Нет, мне пока никто ничего не говорил.

— Так вот, видишь — на землях нынешнего Почтамта был когда-то огород, вообрази себе только, князя Пожарского.

— Того самого? Дмитрия Михайловича? Которому поставили памятник на Красной площади?

— Его самого, великого гражданина. Так ему заплатили за освобождение Москвы от поляков.

— Этой землей?

— Огородной землей, дружочек, а это совсем особая статья.

— Какая же?

— А то, что по тем законам, если земля была огородная, обязан был хозяин ее возделывать. Не строить дом, не обзаводиться хозяйством, а только копать грядки.

— Но он же воин был, бабушка! Разве что мог крестьянам приказать.

— Так в том-то и дело, что князь Пожарский брал с собой на службу всех своих крестьян. Одевал их в воинский доспех, давал оружие. Огородами заниматься только бабы могли. Так они около своих домов вертелись.

— И, значит...

— Оставалась земля неухоженной, и за то ее у князя через несколько лет отобрали.

— А князю что же осталось?

— Благодарность народная. Разве этого мало?

...Храм необыкновенный. Входишь — перед тобой стенка с узорчатым балконом. Под балконом дверь. Узенькая. А за ней словно в небо улетаешь: высота немереная,

свет со всех сторон. Иконостас — резной, со скульптурами большущими, как диковинное растение.

Бабушка улыбается: такого мастера и по имени помянуть не грех. Иван Зарудный — он другой иконостас в самом главном петербургском соборе Петра и Павла, что в крепости, сделал. А сам московский. Здесь ему император Петр Великий поручил все иконы проверять, чтобы богомазов пресечь. Развелось их множество. Еще со времен отца государя Петра Алексеевича на Красной площади в торговых рядах как посудой или овощами торговали. И здесь бы за такую работу не взялся — Александру Даниловичу Меншикову не посмел отказать. Очень уж тот большую силу при государе приобрел. А здесь свою церковь решил построить, да еще непременно выше колокольни Ивана Великого.

— А зачем, бабушка, зачем — здесь же не Кремль?

— Спесив был выше всякой меры, вот на Кремль собственный и замахнулся. Я-то смолоду поднималась на колокольню — красота неопишуемая. Сейчас уж и думать нечего. А вот ты подрастешь, непременно с гувернанткой сходишь. Ей тоже на пользу будет Москву-то такую поглядеть.

— Так ведь еще пожарища, бабушка, остались.

— Ничего. В Москве не страшно. У нас летом сады все прикроют, зимой — снега. Все равно ширь необъятная. Вот я тебе скажу, а ты еще и не поймешь: Москвой дышать надо. Люди людьми, а я про город говорю. Время придет — поймешь. Ой, заговорились мы с тобой, а вон уж нас и батюшка приглашает. Поспешим-ка.

— Ваше превосходительство, как всегда помянем болярину Храповицкого Александра Васильевича?

— Да вот видите, отец Симеон, теперь к нему и другого братца надобно: Храповицкого Михайлу Васильевича. Нету его больше с нами.

— Скорбеть, скорбеть не надобно, ваше превосходительство. Господь посылает нас на земную юдоль, Господь с нее и отзывает, когда свой путь совершим, крест до конца донесем.

— Да ведь и крест разной тягости может быть, бабюшка.

— И это не нам судить. Господь сверх сил человеческих не дает. У него одного истинная справедливость.

Тихо в храме. Пыль в солнечном луче дымкой вьется высоко-высоко. Певчих нет — бабушка не любит. Только причетник с дьяконом подпевают. Причетник высоким голосом, с хрипотцой: старенький совсем. Сгорбился. Удьякона звук ниже, гуще. Он его будто сдерживает.

«И где несть ни печали, ни воздыхания...» Панихиду отслужили, а домой будто легче идти. Веселее, что ли. Бабушка кончиками губ улыбается:

— Так ведь с самыми близкими встретились. К молитвословию можно и свои слова прибавить, душевные. Еще лучше выходит.

— А разве они вам, бабушка, отвечают?

— Поживешь — увидишь: всю жизнь те, кто дорог, отвечать будут. Днями ли, ночами. Как придется.

Подошли к воротам, а уже у подъезда две коляски стоят. Никогда Пашков дом пустым не стоит. Бабушка не то что гостей собирает: сами едут, торопятся. Вон и Ивана

Ивановича Дмитриева карета. Его бабушка всегда отличает перед другими. Басни его велит учить: язык, мол, превосходный. Единственный.

А нянюшка все по-иному рассказывает. Что вот такой человек — и знатный, и состоятельный, и заслуженный, и собой хорош, а жизнь-то не задалась. Все знают, влюбился в семье Пушкиных — они по другую сторону бульвара, в Огородниках, дома снимали — в сестрицу Анну Львовну. И собой, нянюшка толковала, не то чтобы хороша, и с приданым ждть было нечего. Только Ивану Ивановичу все нипочем: влюбился, в дом родительский ездить, как положено, что ни день стал, посватался, и на тебе — отказ. Да не родители отказали — барышня сама. Слухи ходили: то ли повздорили, то ли приревновала невеста к кому — кто их, молодых, разберет. Думали, другой Анне Львовне по сердцу пришелся. И того вроде нет. Только расстроилась свадьба. И другой никакой не вышло. Анна Львовна всем от ворот поворот давала, и Иван Иванович больше ни за кого свататься не стал. Бобылем живет. Одна радость — цветы в своем саду разводит, да какие расчудесные. Днями целыми возиться с ними рад. Птиц еще подбитых привечает, добрая душа. Сам выхаживает. Из рук кормит. На знакомых и внимания не обращает, что посмеиваются. А глаза-то у него, сама посмотри, какие: голубые-голубые. Вот не видала ты еще, как лен цветет: чисто его глаза.

Весны хочется, а и зимы жалко. Уроков много. Бабушка дня не пропустит, чтобы не проверить: все ли выучила, со всеми ли учителями внимательная была. Зато радость какая — два раза в неделю к танцмейстеру Йогелю на

Тверской бульвар ехать. Мадемуазель Жюли каждый раз новое платье просит надеть. Сама принаряжается. Оно, может, и не настоящий бал, а народу видимо-невидимо. Все нарядные. Говорить только по-французски дозволяет-ся. Одно словечко девочкам на ушко по-русски шепнешь, и то приметят. Разъезд начинается — чисто театральный подъезд.

— Княжон Урусовых карета!

— Князю Долгорукову подавай!

— Господ Нарышкиных экипаж!

А там и ихний, хоть без гербов, зато дорогой, модный:

— Барышни Сушковой не задерживай!

На Тверском бульваре гуляющих множество. Дети с гувернантками, боннами. Их время уже тоже проходит. Ах, какие модные щеголи им на смену из экипажей выскакивают. Словечками перебрасываются. Иные в кофейню идут.

У мадемуазель Жюли много не узнаешь. Бабушка велела: никаких сплетен, так ее и не разговоришь. Так словечко другое бросит. А, может, и сама Москвы толком не знает. Другое дело, когда с кем-нибудь из братцев едешь. То-то весело! То-то забавно! Уж они все и обо всех знают. При Додо говорят, не таятся.

Монастырь у Петровских ворот. Нарядный. Стена до пол-улицы тянется.

Братец сказал, заложил его великий князь Дмитрий Донской, когда на Донце и Непрядве великую битву с татарами выиграл. Ратников положили тогда видимо-невидимо — так в память о них, погибших. А потом уж Петр Великий дедушку и бабушку своих здесь же похоронил.

Вот только говорили, не слишком их вспоминал. Священники, конечно, все положенные службы служили. Пока государыня-царица, родительница государя, жива была, в собор, где лежат они, ездила. Тоже только не больно часто.

Один раз мадемуазель Жюли простыла, нянюшка ее возила на танцы. У монастыря кучеру велела остановиться. Вместе с Додо в храм Боголюбской Божьей Матери, к могилам к царским прошла. Поморщицалась:

— Не радеет братия. Вон пыли сколько лежит.

Оно сразу и не заметно, а лучик солнечный пробился, ровно пеленой какой серый резной камень покрылся.

— Почему не радеет, нянюшка?

— Потому что государево небрежение видят, да, видно, и денег им мало дают.

— Денег? На молитвы?

— Здесь, детка, все они купленные. Это не то, что ты в подушечку свою шепчешь. Вот такая твоя молитва куда доходчивей.

От храма до ворот путь недолгий. Снежок по сторонам плотно прибит. Тропинка песочком желтым присыпана. Воробьи на ней шумят, прыгают, только что не дерутся. А нянюшка про свое думает. Даже ручонку Додо выпустила.

— Ты о чем, нянюшка? Сказала я что не так? Обидела тебя?

— Так кого же ты, светик мой, обидишь! Всех только порадовать хочешь. Это уж как родилась, сразу ручонками ко всем потянулась. Смеешься, лопочешь. Другие дитяти в крик, а ты, радость наша, в смех.

— А о чем задумалась, нянюшка? Скажи же!

— А вот о том, что и государей с той поры немало сменилось, и Нарышкиных похоронили немало, только стариков-дедов забыли. Ведь вот — недавно то было, император Павел Петрович короноваться в Москву приезжал. Ни разу в обитель Петровскую не заглянул. Дело ли это? О Москве подумал. Вон перед нами дом стоит — гостиница. Не было таких в Москве ранее, а он первым делом распорядился на всех бульварных перекрестках гостиницы поставить. В дом соседний — видишь, нарядный какой! — графов Татищевых на бал танцевать приезжал, в менуэтах да экосезах изловчался.

— Танцевал? Император?

— Сам Павел Петрович.

— И хорошо танцевал? Ловко?

— Не нам с тобой, деточка, императоров в таком деле судить, а, помню, жили мы еще о Марье Васильевной и дедушкой твоим, губернатором симбирским, в Симбирске...

— А ты и там с ними была, нянюшка?

— Да я при Марье Васильевне всю жизнь.

— Всю-всю? И когда она в девушках была?

— А как же! Девушкой спальной при барышне моей состояла.

— Ой, как интересно, нянюшка!

— Все-то тебе, егоза наша, интересно.

— Ты про Симбирск, нянюшка, говорить стала.

— А ты мне и до слова дойти не даешь.

— Молчу, нянюшка, молчу, только ты продолжай.

— Государь император тогда еще цесаревичем был, в наши края заезжал. С бабушкой твоей так в польском

прошелся, любо-дорого. Тоненький такой. Ножку отставит, и даму вокруг себя раз-другой повернет, будто в воздухе кружит.

— А бабушка, бабушка как танцевала?

— Барышня моя всегда в танцах славилась, только любить их не любила.

— Танцевать не любила? Правда, не любила?

— А вот и нет. Чуть минута свободная выдастся, в кабинет свой ускользнуть норовила.

— От танцев?

— Да что ты все с танцами своими, егоза. Марья Васильевна с детками, бывало, поговорит, уроки у учителей проверит и снова у себя затворится. Дедушка-то твой больше на службе времени проводил, по губернии много ездил, а барышня наша за книжками. Порядок во всем любил. Потачки чиновникам не давал. Просителей сам раз в неделю принимать изволил. Справедливый был, ничего не скажешь.

— Не сердился, что бабушка книжками занималась?

— Не слыхивала о таком. Чего ж тут сердиться, когда сама императрица Екатерина Алексеевна бабушку за труды ее почитала. Всем говорила, что таланту Марьи Васильевны только завидовать можно.

— Сама Екатерина? Великая?

— А какая же еще!

— Только бабушки рано не стало, правда? Я еще не родилась.

— Поди, лет за десять. Не видала она тебя — бог не привел, а то порадовалась бы. Стихи твои послушала.

— Так я их только на французском сочиняю, да и то мадемуазель Жюли за них корит. Будто время зря трачу, голову себе забиваю.

— Марье Васильевне смолоду тоже так говаривали, да она никого не слушала. Императрица похвалила, тогда и разговор округ иной пошел.

Иной раз так хочется, чтобы кучер попридержал рысаков. Нянюшка все говорит, говорит, а тут наслушаться не можешь.

На Трубной площади шум, толкотня. Извозчики лошадей у колодца поят. Водовозы бочки наливают. Все говорят, вода здесь особенная, мытищинская, сладкая да полезная. Бабы с ведрами суются, лошадям мешают.

— Да ты на обитель лучше погляди, егоза.

— А что в ней, нянюшка?

— Да то, что постригли в ней насильно мать Кудеяратамана. В монахини постригли, хоть и великой княгиней московской была.

— Насильно? В наказание? Провинилась она чем?

— Провинилась тем, что супругу венчанному надоела. Решил на новую сменить, молодую да красивую. До конца в секрете держал, а потом и объясняться не стал: отвезли великую княгиню вон в этот храм да и постригли.

— А разве можно в монахини без желания?

— Все можно, коли власть есть.

— Так не соглашалась бы великая княгиня!

— Она и не соглашалась. Народ запомнил, криком кричала, не давала куколь монашеский на себя надеть.

— И что, нянюшка, и что?

— А то, что будто бы кто-то из бояр ременной плетью стегать великую княгиню начал, пока в беспамятство не впала... Так беспамятную и постригли, в возок сволокли из Москвы увозить.

— И все здесь? Вот в этом храме?

— В этом самом.

— Нянюшка, хочу в этот храм!

— Хочешь? А зачем? Чужое горе и сегодня там своды гнетет. Зачем тебе с ним спознаваться.

— Ну, может, помолиться за страдалицу. Свечку поставить.

— Добрая ты у нас душа, Авдотьюшка Петровна. Только, знаешь, свечек-то две ставить надобно. Не за одну княгиню Соломонию Юрьевну.

— Не за одну? Почему?

— Потому что, говорят, — верить ли, нет ли — под сердцем дитя она в те поры носила. Сыночка долгожданного. Единственного.

— Господи! Как страшно-то!

— Говорят, ее тяжелую в дальний монастырь свезли. Там и родила, а добрые люди спрятать да вырастить помогли. Время пришло, Кудеяром-атаманом назвали.

— А любила княгиня князя-то? Очень любила?

— Как ты думаешь, в любви и согласии чуть что не четверть века прожили. Москвичи полагали, пылинки с княгинюшки своей сдувал, а вот на поди.

— А кого же вместо верной княгини князь выбрал? Какой это был князь?

— Князь-то Василий Иванович, отец Ивана Васильевича Грозного, который на наших Чистых Прудах сколько

лет казни устраивал. Не то что палачам приказывал — сам головы рубил стрелецкие да боярские. Силушкой своей похвалялся.

— А мне говорили, городские бойни...

— Бойни это, Авдотьюшка Петровна, потом, а сначала все пруды кровью человеческой настоялись, пока царь Иван Васильевич Грозный не преставился.

— Вот и приехали, барышня. Ну-тка, помогу вылезти-то.

— Погоди, погоди, Петр Евсеич, я еще не дослушала нянюшку.

— В другой раз дослушаешь, егоза.

...Теперь бы только незаметно шубку скинуть и в библиотеку проскользнуть. Не вышло. Мадемуазель Жюли на лестнице стоит:

— Вы очень задержались, мадемуазель Додо.

— Разве? А мне показалось, время так быстро пролетело.

— Удивляюсь, как ваша няня не заметила. Вас бабушка ждет, и давно. Пожалуйста в ее кабинет.

У бабушки на столах книг много — все журналами завалено. Одни разрезаны, других и разрезать не успела. Все дни читает. Над большим вольтеровским креслом целое дерево зеленое, все розами цветущими усыпано. Бабушка садовника для дома одного держит. Цветы в кадках и в гостиной, и в зале.

— Бабушка!

— Додо, что ты так припозднилась? Опять тебе няня сказки свои рассказывала? Сколько раз я говорила: вместо сказок учитель есть. Истории. Его и следует слушать. Другой раз с няней тебя не отпущу.

— Бабушка, милая, нянюшка ни в чем не виновата. Это мне в монастыре так чудно показалось!

— Каком еще монастыре? Этого только не хватало! У тебя и законоучитель отличный есть, чтобы еще по обителям всякие толкования слушать. Ступай, Додо, но больше никаких поездок с няней не будет. Куда ты идти собралась?

— В библиотеку, бабушка.

— И что же тебя этим разом заинтересовало?

— Я хотела сочинения бабушки Марьи Васильевны почитать. Можно?

— Еще бы не можно. Нужно! Как Марья Васильевна диалект французский знала. Государыня императрица особо отличала ее переводы Мармонтеля, говаривала, будто французский и русский языки у нее в одном дыхании сливались. «Инки, или Разрушение Перуанской империи», помнится, при жизни Марьи Васильевны раза три переиздавались. А повести «Щастливое похищение, повесть гишпанская» и «Земира и Азор» в каждом доме были!

— И у нас есть?

— Конечно, есть. Ты на галерейке в уголке у левого окна поищи. И, знаешь, еще посмотри, как Марья Васильевна с русского на французский переводила. Херасков ей особенно удавался — все говорили.

— Мне можно идти, бабушка?

— Иди, иди, да еще посмотри, что дед твой писал. Хороший сочинитель был — Михайла Васильевич Сушков. Он еще раньше сестры из жизни ушел. Издал он при государыне Екатерине Алексеевне «Полную баснословную ис-

торию» и «Российского Вертера». Барышни не было, чтобы им не зачитывалась.

...Иногда думалось, почему в доме нет папеньки. Братья, она, а папеньки не увидишь. Редко-редко покажется. Как на перекладных, говаривала нянюшка, переждет на станции, на Чистых Прудах, и снова в путь.

Говорить о нем не говорили. Даже нянюшка лишнего словечка не обронила. Служба, мол, Авдотьюшка Петровна. Так и у других служба. Детьми не то что тяготился, а так... скучал. Братьям особенно тягостно было. Молчали. Все молчали. Словно сговор какой.

Один раз в карете ехали через Тверскую заставу. Кучера призадержал.

— Вот, Додо, здесь, на углу Малой Дмитровки, господин Михайла Матвеевич Херасков жил. Всю Москву в доме собирал.

— На балы?

— Откуда? Неужто тебе о Михайле Матвеевиче никто не говорил? Поверить трудно.

— Я, папенька, стихи его в библиотеке нашей читала.

— А, вот видишь. А вечера он собирал литературные.

— Правда? Литературные?

— Правда. Литераторов у себя собирал, студентов Московского университета. Бывало, не протолкнешься в зале. А за чайным столом супруга его Елизавета Васильевна. Приветливая. Ласковая. Всех рифмоплетов — а набегало их видимо-невидимо — выслушивала. Кого приободрит, чей пыл поумерить сумеет. Все ей верили. Ведь поэтесса известная.

— Поэтесса? Так о ней и отзывались, папенька?

— Тебе-то откуда знать. А тогда услышать о себе отзыв самой Елизаветы Нероновой куда как лестно было. Вот ты Ивана Ивановича Дмитриева спроси, или Василия Андреевича Жуковского, когда заглянет. Державина Гавриила Романовича тоже жаловала, подобно супругу своему. Михаил Матвеевич в те поры Московским университетом занимался. Студенты на него только что не молились.

— А почему вы, папенька, вроде грустно так смотрите?

— Да вот молитва эта студенческая Михайле Матвеевичу боком вышла. Молиться только на монархов себе на пользу выходит.

— О чем это вы, папенька?

— О том, что императрица Елизавета Петровна вроде Михайлы Матвеевича не замечала, племянник ее, император Петр III, тем паче. Для него, кроме солдатской муштры да смотров на плацу никакого интереса в жизни не было. А вот государыня Екатерина Алексеевна сразу подозрение противу Хераскова заимела. От студентов удалить его немедля решила.

— Неужто сослала?

— Зачем же? Для литераторов и иные способы есть. Был Михайла Матвеевич куратором Московского университета. И театр тут студенческий прехотличный открыл, и типографию, где студентам, глядишь, и приработать было можно. А тут, на тебе, назначение. Да кем! Вице-президентом Берг-коллегии!

— А господин Херасков по горному делу специалистом был?

— Откуда? Конечно же, нет.

— Но как же тогда...

— На все воля государева. Все мы только его слуги.

— И вы, папенька? И я?

— И я.

— Что же, разве мыслей своих вы иметь не можете? Ведь каждый человек по-особенному думает, чувствует.

— Вот пусть про себя и чувствует, а на службе никому его мысли не надобны. Одна морока да начальственное неудовольствие.

— А те, кто вам подчиняется?

— О тех и толковать нечего.

— Их право...

— Никаких прав у них нет и не будет.

— Позвольте, папенька, разве от рождения не все Творцом нашим уравниены. Только каждому судьба своя выпадает. Это уж беда их, а не провинность.

— Вон как ты рассуждать начинаешь, Додо. Интересно бы узнать, к чему барышне такая наука. Где ты ее проповедовать собираешься: в поместье ли среди крепостных баб да девок, в семействе ли своем будущем деткам, если даст мне Господь радости до них дожить, или, может, в котильоне на модном балу. Что-то больно все несуразно получается. Говорил я твоей бабушке, нет нужды столько времени в библиотеке просиживать. Цвет лица испортишь, а проку никакого. Надо будет с бабушкой и об учителях твоих потолковать. Может, от них все идет, а, Додо?

...Весна в Москве по-разному приходит. Главная примета — ледоход. Из разных мест лед идет. В Москве их наперечет знают. Вот когда Можайский до столицы доберется, тут и прозелени жди. Вечером еще все деревья го-

лые, серые, а утром будто краской облитые. Да какие яркие, радостные.

Додо с учителями обычно дома занимается, но на ледоход послабление выходит: экипаж закладывают, разрешают к мостам съездить.

В тот раз черед Семена Егорыча подошел. Молоденький еще совсем, зато чинный, степенный. Поповский сын с Орловщины. Семья бедная, многодетная. До Москвы-то добрался, а чтобы университетские лекции послушать, а там, Бог даст, и студентом стать, репетитором устроился. Начал с того, что вместе с питомцами лекции стал посещать. У Пашковых тоже на нем остановились.

Фамилия у Семена Егорыча на первый взгляд непонятная — Раич. Не то серб, не то южный славянин. А на деле ему ее в семинарии придумали: по отцу-то он Амфитеатров. Додо к новому воспитателю привязалась за любовь к поэзии. Ее первые опыты послушал, одобрил. Одно посоветовал — иностранными языками не пользоваться. На русском писать. Откуда ему знать, что это мадемуазель Жюли одобряла. Домашние все больше посмеивались: все барышни по нашим временам стихами заболели, вот и Додо в семь лет поэтессой стать решила.

Все по-разному места, где ледоходом полюбоваться, выбирали. Семен Егорович Додо повез к Васильеву лугу, там видно, как Москва-река вместе с Яузой разливается. Конца-краю нет, и небо в воде яркое-яркое...

Приглашали Раича учить русскому языку, а он был переводчиком Горация и Вергилия, был редким знатоком классической поэзии. И, может быть, главное — убежденным романтиком. Он мог со своим питомцем Федором

Тютчевым все в той же подмосковной Теплый Стан уходить бродить по лугам, пригоркам, в тени перелеска читать любимых поэтов. Подобная вольность в отношении барышни-ученицы не представлялась возможной, но ведь оставался самый строй мыслей, поддержанный Иваном Ивановичем Дмитриевым, которого Раич мало что не боготворил.

«Мы обрекли бедную Додо из блестящей светской красавицы стать всего лишь поэтессой, да еще совершенно по-мужски относящейся к своим опытам», — замечает ее брат, которого не убедили в талантливости сестры и ее русские опыты в стихотворстве, которые она решается показать родным в свои четырнадцать лет. Но у Додо не только в этом мужской характер. Раз она решила заниматься поэзией, ничья критика не может стать на ее пути.

А между тем Москва словно вскипает поэзией, литературой, и это при том, что только что кончилась Отечественная война, многие дворянские семьи переживают слишком значительные материальные трудности, и старый город слишком медленно поднимается из уже успевших затянуться лебедой и полынью пепелищ. Да, да, это Додо заметит: почему-то сквозь следы пожарищ пробивается белесая лебеда, а полынь так горько пахнет утром под ранней росой. Зато во дворах под колесами и ногами также упорно тянется к свету куриная слепота с ее мелкими золотыми цветочками и гусиное мыло, усыпанное крошечными капельками белоснежных лепестков.

На золотистой бержерке-диванчике в гостинной тонкая книжка в бумажном лиловато-сером переплете выгля-

дела совсем не привлекательной. Но — на обложке стояло магическое слово «Valeri», написанное почему-то от руки.

Это была настоящая удача. Потому что книжку можно было, не спрашиваясь, взять. Исчезнуть с ней хотя бы в уголке зимнего сада. И, наконец, узнать, о чем так спорили старшие.

О многом Додо уже слышала. О многом догадалась. Молоденькая, почти девочка, из древней прибалтийской семьи была выдана замуж за известного и титулованного российского дипломата. На место своего назначения барон — а это был барон — уехал не только со своей юной женой, но и с почти таким же молодым секретарем, сыном священника из Царского Села, достаточно знакомого в высшем свете.

Об этом старались говорить шепотом, намеками, но молодые спутники барона пережили любовный роман, в котором секретарь счел делом чести признаться своему начальнику, скорее всего рассчитывая на развод любимой с мужем. Развода не последовало. Баронесса осталась с супругом. Зато молодой чиновник лишился всякой карьеры и даже, кажется, возможности оставаться на государственной работе. Это было бы катастрофой в материальном отношении, если бы его мать не относилась к богатейшей семье уральских заводчиков, служба для заработка на жизнь ему была не нужна.

Скорее всего, частный семейный скандал вскоре бы и забылся, если бы баронесса через некоторое время не написала роман с точным описанием всех чувств и событий, дав герою не вымышленное имя Валери. Успех сочинения был огромен. Первое откровенное признание жен-

щины в своих чувствах, притом нарушающих все принятые каноны поведения! «Валери» перевели на все европейские языки (кроме русского!). В моду вошли платья, прически, шляпки, даже цвета «а ля Валери». Прочесть всю книгу не представлялось возможным, но хотя бы отдельные страницы!

Первые страницы не пророчили никаких откровений, хотя и были написаны более живым, чем обычно языком.

«...Робкая птичья трель прорезала предрассветную тишину. Ей ответила другая, более уверенная, третья. И все вокруг наполнилось ликующим пением. Первые лучи солнца упали на верхушку старого вяза у окна спальни. Бледно-серое небо стало покрываться голубизной. Валери нетерпеливо поправила подушки и зажмурила глаза. “Вы не спите? — раздался голос вошедшего в спальню барона. — Я хотел сообщить вам, что отправляюсь на охоту к герцогу Д. и вряд ли вернусь ранее, чем через два дня. Герцогские охоты всегда так продолжительны. Постарайтесь не скучать”. Дверь затворилась.

“Мой муж, — подумала Валери. — Барон — мой муж. Как странно”. Хотя она была замужем уже три года, удивление нет-нет да возвращалось к ней — слишком неожиданно и просто совершился их брак, признанный всем светом самым счастливым.

Три года назад она готова была жалеть о монастырском пансионе, где провела детство. Но настало время подумать об устройстве ее судьбы, и отец, хотя и без большой охоты, приехал забрать взрослую дочь у монахинь. Дома ее появление ничего не изменило и никого не порадовало. Мать много выезжала. Она была все еще хороша

собой и предпочитала последних в жизни поклонников радостям семейного очага. Отец был занят делами и карточной игрой. Обычно он засиживался за зеленым сукном всю ночь и приезжал на рассвете, когда Валери, приученная строгими монастырскими порядками, уже вставала. Тем не менее, мать позаботилась о ее туалетах, отец — о драгоценностях и выезде.

Появление новой невесты в свете не прошло незамеченным. Валери была красива и могла рассчитывать на неплохое приданое. Тетки пророчили ей успех. Но уже после третьего бала в их доме оказался барон. Его переговоры с отцом, по-видимому, прошли успешно, потому что в свете он начал оказывать девушке подчеркнутое внимание. Валери была польщена. О бароне говорили, его успехи у женщин пересказывали, самые модные красавицы на него заглядывались. Годы, казалось, обошли его стороной, а две жены, которых он успел похоронить, придавали ему таинственный ореол Синей Бороды.

Барон не замедлил сделать предложение родителям и получил их согласие. В тот вечер родители сочли возможным в первый раз оставить их одних. “Вы согласны стать моей женой? — спросил барон, взяв ее за руку. — Ваше сердце никем не занято? Я не хочу быть насильником”. Валерии покачала головой. “Тем лучше, хотя я все равно добился бы вашей руки”.

Его уверенность заставила ее залиться краской. Барон держал в руках прелестное кольцо и бриллиантовый браслет — чудо ювелирного искусства. Голосом, едва слышным и неуверенным, запинаясь от робости, Валери попросила его несколько повременить, дать ей собраться

с мыслями. “Зачем? — возразил барон. — Поверьте, я не буду докучать вам своим присутствием. У вас будет достаточно времени для размышлений, когда вы станете баронессой. Я не люблю откладывать задуманного”. Через неделю состоялось их венчание...»

Героиня представлялась слишком обычной, повседневной. Пожалуй, даже похожей на всех, если бы все начали откровенно высказывать свои мысли.

Шаги в начале зимнего сада заставили поторопиться и сразу открыть почти конец:

«...Раздался скрип гравия под чьими-то быстрыми шагами. На пороге беседки стояла баронесса. “Вы разговаривали с моим мужем?” — “Да”. — “Как вы смели!” — “Это была моя обязанность порядочного человека”. — “Порядочного относительно кого?” Глаза Валери лихорадочно блестели, грудь высоко поднималась.

“Вы называете порядочным выдать жену ее собственному мужу?” — “Я не выдавал вас, Валери. Я ни словом не обмолвился о наших отношениях. Но я не мог скрывать от барона, которого высоко почитаю, что люблю вас и что пребывание в его доме превратилось для меня в сплошную пытку”. — “И вы рассчитываете, что я покину этот дом вместе с вами?” — “Но, Валери, ваши мечты...” — “Мечты — это только мечты, милый граф. Неужели вы могли подумать, что я брошу свое положение всеми уважаемой женщины, оставлю барона и стану скитаться с вами и с вашей любовью по свету или закроюсь до конца своих дней в глуши вашей деревни, которой, впрочем, кажется, уже и не осталось. Вы бедны, граф, просто бедны. Так что же вы хотели предложить любимой женщине за

отказ от всего, чем она располагает?” — “Ничего, кроме своей любви”. — “Любви! Надолго ли ее хватит, когда мы окажемся выброшенными из общества нищими, едва способными свести концы с концами! Вы можете себе представить меня, МЕНЯ в полотняном чепце и грубой суконной юбке у кухонной плиты или со спицами в руках? Что останется от ваших восторгов при виде такого огородного пугала! Вы признаетесь перед собой, что совершили ошибку, а я — что будет со мной? Нет, граф, порядочность не позволяет вам оставаться в стенах этого дома — не оставайтесь. Ступайте с Богом и навсегда запомните: вы своими руками погубили нашу любовь. Прощайте!”»

Нет, этой книги она не стала бы читать до конца. Зачем? Так легко было себе представить многих приезжавших к ним дам с такими же рассуждениями, а чувства... Баронессе Юлии Криденер — Додо знала имя автора — они были просто недоступны. Кругом все называли это имя в связи с политическими переговорами России, только что заключенным миром и тем, что именно баронесса сумела оказать на императора Александра совершенно неожиданно самое значительное влияние. Кажется, она вообще собиралась навсегда поселиться в России.



LA RUE DES VIEUX TEMPLES

Улица старых храмов

— В это трудно поверить, но она любила Париж в дождь.

— Да, мне трудно разделить это чувство.

— А графиня любила. Один раз я увидел ее из окна фиакра. Она стояла у башни Сен Жака, залитая какими-то нескончаемыми водяными струями.

— Но как она оказалась в такую погоду и в таком малолюдном месте Риволи?

— Я не подумал об этом. Меня поразила ее тонкая фигура под красиво наклоненным зонтом. И знаешь, она не казалась ни одинокой, ни потерянной. Она просто смотрела на остатки башни.

— И она была одна?

— Ее экипаж стоял у обочины с приоткрытой дверцей.

— Она вообще любила одинокие прогулки?

— Ты ставишь меня в тупик. Я не настолько знал привычки графини, и она не делилась со мной своими настроениями. Простой случай.

— Она была русской в Париже?

— Нет, парижанкой. Как, впрочем, в Риме римлянкой. Ты имеешь в виду оттенки региональности? Его не было и в помине.

— Тем не менее одинокие прогулки наводят на размышления. Графиня была счастлива в семейной жизни?

— Но ты же знаешь, хотя бы по числу детей, сколько лет она уже была замужем. Очарование, при всех обстоятельствах, давно минуло, а в остальном...

- Меня интересует только остальное, отец.
- Ни минуты не сомневаюсь, только вряд ли смогу удовлетворить твое любопытство без участия писательской фантазии, которая тебе здесь явно не нужна.
- Муж был на много старше нее?
- Моложе, и притом на несколько лет.
- Некрасив?
- Напротив, очень эффектен. И к тому же с хорошим вкусом одет. Дамы явно ему благоволили и обращали на него внимание.
- А он?
- Был безукоризненно любезен, как умеют быть только русские аристократы, но явно не склонен к салонным, во всяком случае, интрижкам. Наши дамы не скрывали своего разочарования.
- Но что-то же его должно было интересовать!
- Уже в Москве мне сказали, что он известный библиофил, ценитель искусств и увлекается гравюрами.
- В тридцать лет?
- В Париже ему было не больше тридцати.
- Русский феномен?
- Я бы сказал иначе. Или не сказал, а предположил: он не пережил увлеченности женой, которая подпитывалась ее литературной славой, светскими успехами и которая вряд ли обладала ответным чувством.
- Даже так!
- Я начал наблюдать за ними. Они не спорили и не вздорили между собой даже по мелочам. Он держался вблизи от нее, но выработал привычку графине не надоедать. Графиня была привычно любезна с ним, не обращая

в то же время внимания на его высказывания, замечания, суждения.

— Они были неумными?

— Да нет же, самыми обычными. Задним числом я не сумел бы нарисовать его портрета, в чем признавались мне и многие его московские знакомые.

— Что же лежало в основе их союза? Состояние?

— Граф Андрей Ростопчин был действительно богат, но и Додо, как ее звали в юности, Сушкова не нуждалась в средствах. Самое большее — они дополняли друг друга.

— Увлечение внешностью? У девушек такое происходит слишком часто.

— Графине, как мне говорили, было уже около двадцати пяти, и родные буквально настояли на этом браке, боясь, что она так и останется до конца разборчивой невеселой. Графиня будто бы достаточно долго сопротивлялась, но какие-то внешние обстоятельства — не семейные — вдруг сломили ее отпор.

— Отец, вы интригуете меня все больше и больше!

— Ты рассчитываешь найти сюжет для новой пьесы?

— Вы были бы против?

— Пожалуй. Мне ни в каком случае не хотелось бы касаться графини, даже в самом закамуфлированном виде.

— Тогда я ограничусь простым любопытством психолога.

— Пусть так. Но я начну с перевода строк великолепного русского поэта, по происхождению шотландца, Михаила Лермонтова, одного из самых пылких ее поклонников.

Умеешь ты сердца тревожить,
Толпу очей остановить,
Улыбкой гордой уничтожить,
Улыбкой нежной оживить.
Умеешь ты польстить случайно
С холодной важностью лица,
И умника унизить тайно,
Взяв пылко сторону глупца!..

— Сколько же здесь личных обид, задетого самолюбия и неудовлетворенных желаний!

— Правда? А вот мне ничего из этих черт не удалось испытать на себе.

— Насколько ты был старше пылкого поэта, отец? Или графиня моложе?

— В том-то и дело, что эти строки были написаны в годы нашего первого знакомства.

— Значит, графиня видела тебя иным и оценила в тебе иные достоинства.

И все же я должен рассказать тебе один примечательный эпизод. В тот раз, о котором я начал тебе рассказывать, я не вышел из фиакра около башни Сен Жака, но приказал кучеру последовать за экипажем графини. Она и в самом деле не смогла стоять на промозглом ветру. Лакей помог ей сесть, поднял подножку и экипаж, к моему несказанному удивлению, свернул в улицу Старых Храмов. Слишком узкую, еле позволяющую разъехаться двум экипажам, к тому же без сколько-нибудь интересных для дамы магазинов и лавок.

Тем не менее ее кучер уверенно свернул через несколько проулков к церкви Богоматери в Белых Одеждах,

которую знают далеко не все парижане. Утренняя служба давно отошла. Главные двери были закрыты, но и боковой проход в них открывался с большим трудом. Графиня знала об этом, потому что лакей вышел вместе с ней и с немалым усилием сдвинул тяжелую резьбу, последовав за своей госпожой.

Посуди сам, как бы я мог сдержать свое любопытство. Свидание в храме? Это было бы слишком банально и не подходило к графине. Исповедь? Но она была православной и никакого интереса к католической церкви не проявляла. Я был совершенно сбит с толку.

Мне оставалось, как молодому влюбленному, поглубже спрятаться в тень между дверями, благо места там хватало. Графиня зажгла свечу. К ней вышел из сакристии священник. Она сказала ему несколько слов, на которые он ответил глубоким поклоном. Больше всего меня удивили звуки польского языка. Трудно сказать, насколько владела им графиня, но священник ответил достаточно звучным голосом.

Я обратился к служке. И мальчик охотно объяснил мне, что графиня уже не первый раз заказывает службу о здоровье польского пана, фамилию которого он не сумел уловить, только первое имя — Адам. Я догадался: Адам Мицкевич. Но почему именно он? Известность этого польского поэта не выходила за литературные круги. Переводы его сочинений представляли какие-то трудности, говорят, слишком далеко уходили от оригинала, публикации проходили плохо, и, насколько мне подсказывала моя память, сам он существовал на очень скудный оклад преподавателя латинского языка в каком-то учебном заведении.

Много позже, в Риме, я назову графине это имя. Легкая поволока грусти покрывает ее лицо.

— Это одна из самых романтических, но и трагических историй, соприкоснуться с которыми мне пришлось.

— Ваше сердце лежало к этому польскому поэту?

— Господин Дюма, вы неисправимы. Вы все начинаете с увлечений. Что же, совсем девочкой я не была одинока: вся Москва увлекалась его пламенной поэзией.

— Но и внешность...

— Ах, Дюма, Дюма! Я всего несколько раз видела Мицкевича, и то мельком, но он и в самом деле был необычайно красив.

— Мне говорили, им увлекалась сама княгиня Волконская.

— О, нет, увольте от таких подробностей. Я слышала его стихи, и этого вполне достаточно.

— Поэзия в образе Аполлона — это не так уж и плохо. Древние вполне приняли бы подобное воплощение.

— Друг мой! Он не сумел перешагнуть через человеческие неурядицы ради своего божественного дара. Не знаю, какая из черт характера ему в этом помешала. Но вот вам его история. Кто-то из нас — вы или я — доживем до ее окончания. Только и сегодня можно предугадать: радостным оно не будет.



«БЛИСТАЛ ПЕРЕД НАМИ МИР...»

Не таковы расстались мы с тобою!
Расстались мы, — ты помнишь ли, поэт?
А счастья дар предложен был судьбою:
Да, может быть, а может быть — и нет.

*Каролина Павлова — Адаму Мицкевичу,
1842 г.*

Просто встреча — так хотелось думать родственникам, искавшим для юной поэтессы пресловутой лучшей судьбы. Так станут утверждать со временем биографы поэта, стремившиеся сократить его внутренние связи с Россией: мало было малолетних знакомств в московских и петербургских салонах у молодого красавца, овеянного к тому же громкой славой!

Но хлопоты усердных доброхотов, как чаще всего случается, надломили судьбу поэтессы. Что же касается поэта, для Мицкевича представлялся невозможным донжуанский список. Не случайно современники называли его «живым Вертером», не знавшим измен и не умевшим ни одного пережитого чувства вычеркнуть из памяти. Почти через 30 лет московские знакомцы будут помнить друг о друге так же трепетно, почтительно и — горько. А до Москвы...

Маленькое сельцо под Новогрудком, очень древним и очень маленьким городком на краю Минской губернии, который все детские годы казался столицей. Пусть четыре с половиной тысячи жителей, зато развалины старого

замка, сооруженная много веков назад православная Борисоглебская церковь и история, да еще какая история! Одни утверждали, что первый камень был здесь заложен Владимиром Святым, крестителем Руси, другие называли годом основания города 1116 год и Ярослава Мудрого.

Отец особенно любил повествования о прошлом. Обедневший шляхтич, он мог рассчитывать только на свою адвокатскую работу, чтобы содержать в полугородском-полукрестьянском состоянии семью из жены, которая не принесла ему приданого, и шестерых детей. Разговоры, что настоящим наследством для сыновей станет образование, которое предполагалось им дать, остались разговорами. Семья осиротела, когда Адаму едва исполнилось 15 лет. Попасть в Виленский университет удалось только благодаря счастливому случаю и обязательству по окончании курса работать учителем в школе. Иного выхода не было — даже собрать деньги на дорогу до Вильно было событием. Поездки на летние каникулы к матери не всегда по той же причине могли состояться. Приходилось пользоваться гостеприимством одного из университетских товарищей. А вместе с привольной жизнью в хорошо ухоженном поместье, прогулками по парку, верховой ездой, охотой, танцевальными вечерами пришла и первая любовь. Восторженная. Ударяющая в голову. Почти разделенная. И — безнадежная.

Прелестная Марыля, как ее звали домашние, или Пэри, какой она останется в письмах Мицкевича, уже просвата-на, уже принимает визиты жениха, уже готовится стать графиней. Все дело за устройством дома, куда должна войти молодая хозяйка.

Взбунтоваться? Бежать к любимому? Заявить во всеулышание о чувстве к нему? Нет, Пэри не была на это способна, а нищий студент ни о чем подобном не помышлял. Редкие встречи наедине под неусыпным надзором друзей — не дай бог лишнего свидетеля! — переписка — через них же. И очередной отъезд в Вильно. Мицкевич пережил все страдания Вертера. Марыля узнала ответное чувство много позже. Пожалуй, тогда, когда он стал известным поэтом.

Ничего не изменило для Мицкевича и окончание университета. Признанная всеми профессорами высокая талантливость не избавляла от необходимости начинать преподавать в школе. В жизни поэта появилось Ковно.

Он будет рассказывать Каролине, что в Ковно семнадцать улиц, целых два монастыря — конечно, далеко не Вильно, но и не Новогрудок! Только главное — основал его в 1030 году Конас, сын литовской богини любви Мильды. Богини любви... Зато дальше начались сплошные войны между Литвой и крестоносцами: слишком важным было положение крепости. В нынешней жизни прибавить к этому было нечего. Провинциальный городок спал непробудным сном. Известность, достигнутая поэтом в Вильно, сюда не дошла. Оставалось удовольствоваться несколькими местными «салонами», главным образом, с карточной игрой и непременно пересудами, в том числе местного врача пана Ковальского и его красавицы-жены пани Каролины.

Увлечение? Простой флирт? Бедняк-учитель, еле перебывавшийся на свое ничтожное жалованье, был не единственным в окружении прекрасной Каролины. К тому же

он не переставал переписываться с Пэри, а когда она умолкала, узнавать новости о ней от приятелей.

Поиски революционно настроенной молодежи после завершения Россией наполеоновской кампании не могли не затронуть Западного, как его тогда называли, края. Присланный из Петербурга администратор здешних краев граф Новосильцев увидел редкую возможность для служебной карьеры. Убеждая в своих донесениях Александра I о бунтарских побуждениях дворянства и интеллигенции, Новосильцев одновременно подчеркивал свое рвение и сводил счеты со знаменитым Адамом Чарторыйским, в прошлом близким, но сейчас уже не нужным другом императора. Все участники студенческих собраний, выступавшие против самодержавной власти, тем более за самостоятельность Польши, оказались арестованными. Мицкевича постигла та же участь. Он был возвращен в Вильно, чтобы занять превращенную в камеру келью монастыря.

Так случается не часто, но друзья фактически исключили поэта из следствия. Его имя не называлось, роль на собраниях умалчивалась. Вообще всю вину постарался на себя взять один человек — друг Мицкевича, Томаш Зан. Поэтому приговор для поэта оказался достаточно мягким. Вместо ссылки в Сибирь, заключения в крепости — высылка в Россию для получения назначения «по народному образованию в отдаленные местности». Для назначения следовало явиться в Петербург.

После таких сонных литовских городков впечатление от Северной столицы было ошеломляющим. «Край пустынный, белый и открытый», — напишет Мицкевич.

Ощущение фантастических размеров, заброшенности и трагизма человеческой судьбы в этом одиночестве поэт сохранит на всю жизнь. Тем более его приезд в Петербург совпал с тем самым страшным наводнением, которое Пушкин — во многом со слов польского друга — опишет в «Медном всаднике». Разнесенные по бревнышку нищие лачуги, сорванные кровли, всплывшая утварь, погибающие животные и гробы. Гробы, вымытые водой из кладбищенской земли. Это было подобно картинам Апокалипсиса.

А рядом жизнь, которая не снилась школьному учителю в самых фантастических снах. Его встречает в Петербурге художник Юзеф Олешкевич, талантливый живописец, рисовальщик, к тому же поразивший воображение петербуржцев даром прорицателя: это он точно предсказал день наводнения и размеры предстоящего бедствия. Мицкевичу Юзеф Олешкевич показывает «северную Венецию», «околдовывает его», по выражению поэта, ее неповторимой красотой, сводит с Пестелем, Бестужевым, Рылевым, открывает перед ним двери петербургских салонов. К изумлению скромного застенчивого поэта, его повсюду ожидает самый радушный и восторженный прием.

От Мицкевича не требуют работы, предоставляют право выбора места жительства и через три месяца дают разрешение на выезд в облюбованную им Одессу. Трудно сказать, что привлекло поэта в этом городе. Во всяком случае, никаких знакомых там не было. Вероятно, сказывалось очарование никогда им не виданного юга.

И Одесса не разочаровывает Мицкевича. Куда более пестрая, куда менее стильная и изысканная, чем Петербург, она живет не менее интересной и шумной жизнью.

О Мицкевиче здесь уже успели услышать, его ждут, перед ним распахивают двери всех домов. И, прежде всего, так увлекавшей Пушкина Каролины Собаньской (еще одной Каролины!), «женщины действительно очаровательной». Ведь это Собаньской были посвящены пушкинские строки: «Что в имени тебе моем? Оно умрет, как звук печальный волны, плеснувшей в берег дальний...»

Кто только из одесских красавиц не увлекается в эти месяцы польским поэтом! Здесь окончательно забываются и его нищенское положение, политическое осуждение, ссылка. Да и кто бы мог противостоять открывшемуся в полной мере его дару импровизации!

Роман? Ничего удивительного, если бы речь шла о самой Каролине второй, но Мицкевич... Правда, у Собаньской положение почти независимой женщины. Она много лет не живет с мужем, но, почти как с мужем, живет с генерал-адъютантом графом Виттом, организатором тайного сыска за декабристами и Пушкиным на юге. Не знать об этом прекрасная Каролина не могла. Помогала ли, пуская в ход свои чары? Вполне возможно.

В какой-то момент истина открывается и перед Мицкевичем. Он совершает поездку по Крыму вместе с графом Виттом и Каролиной. Время самое неудобное. Но поэт находит выход. Он закрывается в своих комнатах. Отговариваясь нездоровьем, избегает общества своих товарищей по путешествию, сразу по возвращении в Одессу выезжает в Москву — благо, его просьба о переводе в древнюю столицу оказывается удовлетворенной. Пушкин еще будет встречаться с Собаньской в Петербурге, писать в ее альбом стихи, обмениваться письмами незадолго до своей свадьбы: «Я

рожден, чтобы любить вас...» Мицкевич погрузится в молчание. Вертер не был создан для подобных приключений. Он искал настоящего глубокого чувства и будто догадывался, что ему придется испытать его в Москве.

Наверно, это было самым удивительным: радушные московские дома, сиявшие созвездьем не просто красавиц, любезных, обходительных, умеющих поддерживать любую беседу, но женщин умных, ученых без скуки, думающих и остававшихся неотразимо прелестными. Мицкевич сразу становится завсегдатаем дома Петра Андреевича Вяземского, и как же его увлекает разговор с супругой хозяина Верой Федоровной! Что может сравниться с салоном Зинаиды Волконской, где собирается весь цвет литературной Москвы и где особенно легко и увлеченно импровизирует Мицкевич! А стихи Евдокии, или, как ее звали, — Додо, Сушковой, — будущей Ростопчиной! О литературе можно говорить и в доме Римских-Корсаковых, что на Страстной площади, где балы затягиваются на целые ночи. И всюду Мицкевич встречает юную красавицу Каролину Яниш, дочь профессора Московского университета по химии, физике, общей хирургии.

Да, много было нас, младенческих подруг,
На детском празднике сойдемся мы, бывало,
И нашей радостью гремела дома зала,
И с звонким хохотом наш расставался круг.
И мы не верили ни грусти, ни бедам,
Навстречу жизни шли толпою светлоокой;
Блистал пред нами мир, роскошный и широкий,
И все, что было в нем, принадлежало нам.

Строки Каролины Яниш были известны всей литературной Москве. Поэт Николай Языков обращался к ней со словами: «Да здравствуйте же вы и ваша творческая лира!» К тому же поэтесса отличалась блистательным остроумием, была широко образованна — об этом отец позаботился со всей серьезностью, владела восемью языками и стихи писала на каждом из них.

На этот раз Мицкевич находит свою мечту. Между тем, из родных мест идут одно за другим негодующие и поучающие письма. Общение с русскими? После всего, что пришлось пережить Польше? Светская жизнь? В такое время? Поэт отмахивается от них. Здесь его искренние друзья. Здесь он приобретает по-настоящему громкую славу: после первого томика стихов, изданного в Вильно, в Москве выходят из печати «Сонеты», которыми увлекается вся читающая Россия. И это при том, что написаны они на чужом языке, требуют перевода и осмысления.

И потом уроки польского языка его Художнице. Художница — так станет он называть Каролину Яниш. Ко всем прочим талантам она еще и неплохо рисовала. Их познакомила осенью 1826 года Зинаида Волконская. Счастье — оно совсем рядом при благосклонной поддержке многочисленных московских знакомых. Знакомых, но не родных девушки. Сам Мицкевич давно свободен в своих поступках: его матери нет в живых.

Благополучие семьи Художницы зависит от ее дяди, располагавшего немалым состоянием. И первая же попытка Мицкевича, первый намек на сватовство — и все кончено. Профессор Карл Яниш непреклонен: вслед за братом он не намерен отдавать руки дочери ссыльному из литов-

ской глуши. Нет, он уважительно относится к славе поэта, готов с симпатией отнестись к самому соискателю, но никаких средств к существованию у Мицкевича нет, а положение политически неблагонадежного человека ничего хорошего в николаевской России не сулит. В конце 1827 года отчаявшийся Мицкевич уезжает в Петербург. Раз ему не суждена семейная жизнь, он предпочтет уехать за границу. Друзья обещали похлопотать о паспорте.

«Я убедилась, что не могу жить без дум о тебе; убедилась, что моя жизнь всегда будет только цепью воспоминаний о тебе, Мицкевич! — летят вдогонку строки Каролины. — Что бы ни случилось, душа моя принадлежит тебе одному. Если мне суждено жить не для тебя, моя жизнь похоронена, но и это я снесу безропотно». Кто бы принял всерьез слова двадцатилетней влюбленной. Время покажет — Каролина предсказала всю свою дальнейшую долгую жизнь.

Бороться за свое счастье... Но Каролина не уверена, что ее настойчивость не принесет вреда любимому. Оба брата Яниши готовы на крайние поступки, на ходатайство о высылке «бунтаря» ради спасения дочери и племянницы. Они с Адамом надеялись, что его отъезд поможет ей переубедить родных. Напрасно! Несмотря на все проволочки, приходит разрешение на выезд Адама за рубеж. В апреле 1829 года он чудом получает на руки вымечтанный паспорт и, рискуя серьезными осложнениями, мчится не за границу — в Москву. Поэт не может себе отказать в горькой радости последнего свидания с той, которую уже видел своей женой. И потом — потом, может быть, все все-таки устроится, обойдется? Об этом говорят

прощальные строки, вписанные его рукой в альбом Каролины:

Когда пролетных птиц несутся вереницы
От зимних бурь и вьюг и стонут в вышине,
Не осуждай их, друг! Весной вернутся птицы
Законным их путем к желанной стороне.
Но, слыша голос их печальный, вспомни друга!
Едва надежда вновь блеснет моей судьбе,
На крыльях радости примчусь я быстро с юга
Опять на север, вновь к тебе!

Каролина протягивает Мицкевичу свои строки: «Прощай, мой друг. Еще раз благодарю тебя за все — за твою дружбу, за твою любовь...» Она умела держаться с достоинством, эта хрупкая красавица с огромными темными глазами. «Весь свет оставался в ее очах», — с болью будет вспоминать в конце жизни поэт. В Петербурге, куда он возвращается, есть едва ли не единственный дом, где он может, хоть и очень сдержанно, поделиться своими переживаниями. Это дом знаменитой пианистки Марьи Шимановской.

Разойдясь с мужем, пани Марья решила на огромное концертное турне по всей Европе, доехала до Москвы, позже перебралась в Петербург, где стала давать и концерты, и уроки. Ее самыми знаменитыми ученицами стали члены императорской фамилии. У пани Марьи, тогда уже без малого сорокалетней, словно отказавшейся от личной жизни женщины, были дочери-подростки Хелена и Целина, предмет постоянных шуток Мицкевича. У Ши-

мановской не переводились в ее квартире на Михайловской площади гости. Музыка и разговоры помогали отвлечься от собственных горьких мыслей.

Мицкевич пускается в путешествие по Западной Европе. Заводит знакомство. Не слишком часто и не слишком много занимается поэзией. Преддверие польского восстания 1831 года поглощает все его душевные силы. Он пытается принять в нем участие, пробирается на земли Царства Польского, но сам не верит в успех подобного выступления перед лицом мощи Российской империи. И оказывается прав — остается присоединиться к политическим эмигрантам, спешно направляющимся во Францию, чтобы не оказаться в Сибири. Париж не сулит никаких перспектив. У Мицкевича нет капитала, нет и постоянного заработка. Поэзия если и расходуется — книгоиздатели не спешат расплачиваться с автором. Жить приходится на гроши.

А Каролина — она ждет. Несмотря на все события, в глубине души сохраняет искру надежды... Каждый год празднует 10 ноября — день их объяснения в любви. В Западной Европе и в России начинают издаваться ее стихи и блистательные переводы Пушкина, Лермонтова, Баратынского, Языкова, особенно на немецкий язык. В Париже выходят ее «Прелюдии», где в переводе на французский представлены русские, польские, немецкие, английские и итальянские поэты. Белинский будет восхищаться «благородной простотой этих алмазных стихов, алмазных и по крепости и по блеску поэтическому». Сама поэтесса отзовется о своем поколении: «Нас Байрона живила слава и Пушкина изустный стих».

Она переживет известие о женитьбе Мицкевича, женитьбе, неожиданной и непонятной, даже с точки зрения его ближайших друзей. Марья Шимановская умерла. Ее старшая дочь Хелена стала женой приятеля Мицкевича. И вдруг поэт осведомляется о младшей — о Целине, которую не видел пять лет. Родные торопятся отправить ставшую для всех обузой девушку в Париж: кто станет заниматься судьбой бесприданницы!

Знакомые поражены холодностью встречи Мицкевича и Целины: никакого волнения, никакого намека на чувства. И тем не менее Мицкевич ведет эту незнакомую ему женщину к алтарю. Теперь последняя страница московского романа дописана.

Знает ли Каролина об обстоятельствах странного брака? Может и не знать. Тем не менее, она еще несколько лет остается в одиночестве, чтобы в 1837 году также неожиданно и нелепо, с точки зрения друзей, выйти замуж за модного, но вполне посредственного писателя Н.Ф. Павлова. Подозревать 30-летнюю поэтессу во внезапно вспыхнувшем чувстве к немолодому и внутренне неинтересному человеку трудно. Но и Н.Ф. Павлов, как покажет время, решится на этот брак только по расчету. Дядюшка, помешавший любви к Мицкевичу, умрет и оставит племяннице большое состояние. Любитель карт и вина, Н.Ф. Павлов легко поможет уничтожить состояние. Каролина Павлова больше занята своей работой и своим салоном, в котором собирается вся литературная Москва. Гоголь, Тургенев, Герцен, Григорович, братья Киреевские, Полонский, Фет, наконец, Лермонтов одинаково одаривали хозяйку уважением к ее таланту, остроумию, сердечности.

Жизненные потрясения приходят к ним почти одновременно. Жизнь с Целиной была непростой. Шестеро детей требовали постоянно растущих расходов. Болезни жены были чреваты множеством неудобств. Ее смерть и вовсе выбила Мицкевича из колеи. Он уйдет в армию и погибнет вдали от дома от холеры. Пятидесяти восьми лет. Каролина в тех же 50-х годах разойдется с мужем: к разорению прибавились амурные похождения мужа под крышей собственного дома. Оставшись один, Павлов при достаточно неясных обстоятельствах подвергся обыску и был сослан в Пермь за найденные у него запрещенные издания. Лишившись почти одновременно умершего от холеры отца, Каролина Павлова переезжает с единственным сыном в Дерпт, а после смерти Мицкевича навсегда оставляет Россию. Случайное совпадение? Все может быть.

Для жизни поэтесса выбирает Дрезден. Много работает. Переводит на немецкий стихи и драмы Алексея Константиновича Толстого «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович», поэму «Дон Жуан», что приносит ему широчайшую известность в Германии. Но впереди было еще тридцать лет одинокой жизни:

Ты, уцелевший в сердце нищем,
Привет тебе, мой грустный стих!
Мой светлый луч над пепелищем
Блаженств и радостей моих!
Одно, чего и святотатство
Коснуться в храме не могло:
Моя напасть! Мое богатство!
Мое святое ремесло!

(Умерла Каролина Павлова, отметив очередной день 10 ноября, меньше чем через месяц, в 1893 году, в местечке Хлостервиц под Дрезденом. Похоронили русскую поэтессу за счет местной общины. Чтобы покрыть расходы на похороны, было продано все жалкое имущество покойной. Вместе с ее стихами и письмами.)

— Вам не кажется, отец, что графиня умело отводила вас от разговоров о себе самой.

— Она не представляет типа, склонного к исповедам.

— Это очевидно, но хотя бы какие-то мелочи, случайные заметки.

— Для этого не было соответствующей обстановки. После Парижа мы встретились через некоторое время в Италии. Очень ненадолго.

— И вы меня будете уверять, что случайно!

— Просто супруги не скрывали планов своих путешествий, а я...

— А у вас неожиданно возникли фантазии поездок?

— Я почувствовал, что мне трудно отказать себе во встречах, которые могли не повториться. Россия далека и намерения ее венценосцев не поддаются предсказаниям.

— Графская чета не собиралась поселиться за границей? Так делают слишком многие их соотечественники.

— Для графини, именно для нее, это было исключено.

— Но что влекло ее на родину?

— Видишь ли, я не коснулся еще одного обстоятельства. Графиня во многом повлияла на мое будущее.

— Невероятно! На вас?

— В свое время королева Гортензия, вольно или невольно, открыла передо мной перспективу прозаических

опытов и особенно, конечно, моих полуисторических романов.

— Полуисторических? Это совершенно непонятное определение. Не откажите в объяснении, отец.

— Что ж, романы, как я понял тогда их истолкование королевой, стали полем действия страстей, не важно, кто именно становился их носителем. Я уверен, любой из моих героев в действительности, как живой человек, очень отличался от моего истолкования, а соответственно и исторические ситуации, в которые я своих героев ставил, не могут служить зеркалом подлинных событий. Не так ли?

— Да, но существо характеров твоих героев...

— Именно существо. Поэтому я говорю о полуисторических романах. Не знаю, так ли они пришлись по душе королеве, к тому же в каждом из них она хотела видеть точно направленное политическое начало. Как и графиня.

— Графиня? Графиня и политика? У меня не возникло подобного ощущения от вашего рассказа.

— Мне очень просто тебе доказать это влияние. Помнишь, тебя удивили мои «Записки учителя фехтования» — достаточно необычный роман дворянина с дешевой модисточкой, которая последовала за ним в Сибирь.

— Это действительно неожиданный сюжет. Он произвел впечатление.

— Хотя и не такое, как мои исторические персонажи? Что ж, события наших дней, политические перипетии нашего поколения не всеми воспринимаются одинаково, вызывая и положительное, и враждебное отношение.

Здесь еще остаются баррикады, и каждый занимает место по своей стороне, испытывая злобу к противоположной. Отношение графини к декабристам было совершенно однозначным. Они были и остались для нее народными героями, и в этом она оказалась смелее своих современников — русских поэтов. Впрочем, она ни в чем не искала компромиссов. Она не скрывалась со своим неприятием самодержавия.

— Сколько ей было лет, этой Жанне д'Арк?

— Едва-едва пятнадцать.

— Среди ее родных и близких было много лиц, разделявших те же убеждения?

— Ни она, ни наши общие знакомые не называли никого. Ни отец, во всяком случае, ни тем более братья, которые были в ее же возрасте или даже моложе нее. Тем не менее вот тебе ее строки:

Соотичи мои, заступники свободы,
О вы, изгнанники за правду и закон,
Нет, вас не оскорбят проклятием народы,
Вы не услышите укор земных племен!
Удел ваш не позор, а слава, уваженье,
Благословения правдивых сограждан,
Спокойной совести, Европы одобренье
И благодарный храм от будущих славян!
Хоть вам не удалось исполнить подвиг мести
И цепи рабства снять с России молодой,
Но вы страдаете для родины и чести,
И мы признания вам платим долг святой.
Быть может, между вас в сибирских тундрах диких

Увяли многие?.. Быть может, душный плен
И воздух ссылочный — отравы душ великих —
Убили в цвете лет жильцов подземных стен?..
Ни эпитафии, ни пышность мавзолеев
Их прах страдальческий, их память не почтут:
Загробная вражда их сторожей-злодеев
Украстить нам не даст последний их приют.
Но да утешатся священные их тени!
Их памятник — в сердцах отечества сынов,
В неподкупных хвалах свободных песнопений,
В молитвах русских жен, в почтенье всех веков!
Мир им!.. Мир праху их!.. А вы, друзья несчастных,
Несите с мужеством крест неизбежный свой!..
Быть может, вам не век стонать в горах ужасных,
Не век терпеть в цепях, с поруганной главой..
Быть может, вам и нам ударит час священный
Паденья варварства, деспотства и царей,
И нам торжествовать придется день блаженный
Свободы для Руси, отмщенья для друзей!..

— Графиня передала их тебе?

— Полно, это было бы смешно. И неуместно. Я знал их, как все парижане.

— Откуда? Я их не знаю.

— Немудрено. Ты был слишком мал, а пятнадцатилетняя девочка сама перевела свои стихи, написанные под впечатлением суда над так называемыми декабристами и переслала в Париж знакомым. Оно называется «Страдальцам-изгнанникам». Перевод ходил по Парижу в рукописном виде.

— Но неужели графиня не понимала, какой опасности себя подвергает? Вряд ли император, повесивший офицеров, недавних героев их Отечественной войны, остановился перед суровым наказанием бунтарки.

— Вот видишь, в тебе говорит опасливость буржуа, а графиня настоящая аристократка. Она одинаково презирует страх, расчет и несправедливость.

— И никто ее не остановил?

— Вряд ли бы графиня позволила кому бы то ни было вмешиваться в свои решения. Я скажу кощунственную, с точки зрения той же графини, вещь. Послание Пушкина декабристам, которое он с такими предосторожностями и опасениями передавал через уезжавших вслед за мужьями, великолепно по форме даже в переводе, но по содержанию послания графини куда более смелы и откровенны. Вот тебе еще одно ее стихотворение — «Мечта». Когда первые ссыльные смогли вернуться из Сибири, похоже, их не очень взволновали пушкинские строки, но за стихи графини, которая сама и очень демонстративно им передала, они отвечали, как утверждают свидетели, откровенными рыданиями.

Когда настанет день паденья для тирана,
Свободы светлый день, день мести роковой,
Когда на родине, у ног царей попранной,
Промчится шум войны, как бури грозный вой;
Когда в сердцах славян плач братьев притесненных
Зажжет священный гнев и ненависть к врагу,
Когда они пойдут на выкуп угнетенных,
На правый божий суд, на кровную борьбу;

Когда защитники свободы соберутся,
Чтоб самовластия ярмо навек разбить,
Когда со всех сторон в России раздадутся
Обеты грозные «погибнуть иль сгубить!»
Тогда в воинственный парад он облачится,
Тогда каратель-меч в руке его сверкнет,
Тогда ретивый конь с ним гордо в бой помчится,
Тогда трехцветный шарф на сердце он прижмет...

— Мне не трудно себе представить женщину такого склада.

— С изумлением ты обнаруживаешь, что, кроме будуара бальной залы, в жилом доме существуют и иные помещения.

— Можно сказать и так.

— Так вот, дорогой мой сын, это последнее стихотворение, названное графиней «Мечта», появилось здесь летом 1830 года.

— Когда наша революция привела к падению Бурбонов.

— Вот именно, а напечатать свои вольнолюбивые сочинения графиня смогла только в Лондоне в политическом журнале Александра Герцена, высланного из России.

— Отец, вы — карбонарий!

— Тогда кто же в твоём представлении графиня?



ПЕРВЫЙ — И ЕДИНСТВЕННЫЙ

— Бабушка, это правда, что к Иогелю больше ездить не надобно?

— Скучала уроками? А ведь как будто когда-то их любила.

— Мадемуазель Жюли сказала, все проходит. И увлечения тоже.

— С этим не поспоришь. Это с годами придет: чувства-то беречь надобно. Поистираются они, как старые ткани. Краски, глядишь, не те, то здесь, то там основа светится.

— Значит, ездить не надобно. Но...

— Ты не о бале ли?

— О бале, бабушка. Да и обещалась я сколько танцев.

— Ну, за этим дело не станет. Рождество близко. У всех на детских праздниках перебиваешь. Вон у Огаревых какой бал детский задуман. Не то что с оркестром — буфетом, шарадами. Фокусники, и те приглашены. Рада, Додо?

— А до бала на каток можно поехать, бабушка?

— Почему же нет. Время у тебя какое назначено или как? Вижу, обеспокоена ты.

— Николенька обещался стихи свои новые прочесть.

— Славный он у нас молодой человек, Николай Платонович. Надо думать, Благородный пансион хорошо пройдет, в студенты выйдет. А у тебя для него тоже новинки какие есть?

— Мы с ним о Андре Шенье толковали.

— О любимце твоём.

— Не знаю, получилось ли.

— Что ж не похвастаешь?

— Может, еще подумаю.

— Знаю, знаю, братцы тебя шутками своими донимают. Ничего, я их приструню, им-то до тебя куда как далеко. Может, с досады хорохорятся. Ведь и так бывает. Это с годами люди в разум входят, друг друга слушать начинают. А до поры до времени сам себе центром земли кажешься. Особенность у детства такая.

— Намного ли их Николинька старше, а никогда не смеется. Послушает, что похвалит, о чем промолчит. Мол, сама догадайся, где не удалось.

— Дай Господь, ваша дружба бы укрепилась. Уж как бы все тогда покойны за твое будущее были.

— Вы о чем, бабушка?

— Да это я так, про себя. А стихи о Шенье ты прочти. Мне куда как любопытно.

— Извольте:

Есть имя — от него издавна сердце билось,
Когда ребенком я несведущим была.
Однажды, меж больших, речь грустная зашла
Об юном узнике; я в страхе притаилась,
Вникала всей душой в несвязный их рассказ,
Столь темный для меня, жилицы новой света,
Была растрогана страданиями поэта,
Темницей, смертию... Рекой из детских глаз
Впервые полились возвышенные слезы...

...Тихо в арбатских переулках. За сугробами домов не видно. Одни шапки деревьев да вороны с галками над ними с ветки на ветку перелетают. Покрикивают.

У Власия и вовсе двум экипажам разъехаться на полном скаку уж никак не удастся. Собаки лают. Хрипло. Не со зла — со скуки. Бабушка Полкана только в черном дворе держать разрешает, а тут обок калиток.

Калитки деревянные. Резьбой разукрашены. Кольца — для стука — чугунные, тяжелые. Постучать — сразу дворник выйдет, а чаще инвалид с медалью. Кругом, бабушка говорила, генералов боевых много, так они бедолаг с последней войны к себе на службу берут. Привечают как могут.

У Огаревых — ворота настезь. Створки ломami приперты. Двор — правду Николенька говорил — что твой плац казарменный у наших Покровских ворот. Но у нас — для солдатского строя, а здесь... Сколько экипажей въезжает, всем места хватает.

Николенька так обрадовался. На крыльце встречает. В одной курточке — не застудился бы. Руку подает, чтоб из кареты выйти. Мадемуазель Жюли всегда говорит: настоящий кавалер. Не по выучке — по крови. Все вежливости у него сами собой получаются.

Вот и этим разом, пока лакей раздеться помогает, уже букетик таких чудесных цветов протягивает. Мол, для бала. Из ихней оранжереи. Азалии розовые, одна нежней другой. Жаль, в воду поставить нельзя. Мадемуазель Жюли тут же к платью приколола. Николенька так и расцвел.

— Пока гости съезжаются, может хотите, я вам дом наш покажу. Он совсем особенный. Я его средневековым замком зову.

— Почему же?

— А вот сами и увидите.

— Вы разрешите, мадемуазель Жюли?

— Идите, идите, только не задерживайтесь.

— Мерси, мадемуазель. Мы мигом.

И впрямь — на первом этаже своды. Беленые. И все равно мрачные. Тяжелые. Словно от тяжести непомерной осели. Двери полукруглые по верху. Дубовые. Петли огромные кованые.

— Любопытно, что бы здесь прежде быть могло?

— Я же сказал вам, мадемуазель Додо, настоящий Шильонский замок. Или Шиллера читать здесь надобно. Декорация— в театре не придумаешь.

А окна... Глубокие в проемах, преглубокие. Кажется, ляг во весь рост на подоконник, до решетки не дотянешься.

— И паволока суконная красная у каждого. Чтоб зимой не дуло, да?

— Да здесь зимой никто и не живет.

— А прислуга?

— Папенька распорядился, чтобы в людской избе, отдельно от дома, жили.

— А разве так удобнее?

— Бабинька, говорит, брезгует. Для одной няни исключение — так она под крышей живет.

Мадемуазель Жюли спешит:

— Что-то вы задержались. Боже, но это и впрямь чудо какое. И лавки такие огромные. Полированные. И столы. А доски на полах! Из каких же деревьев огромных.

— Мадемуазель Жюли, а можно мне вам и мадемуазель показать мой кабинет?

— Если только совсем быстренько.

Турецкий диван. Широченный. Кожей обитый.

— Вот моя территория, мадемуазель Додо!

— В каком смысле?

— Да я на моем диване все дни провожу. На ночь на нем мне постелю стелят, а днем подвинешь стол, здесь же и заниматься можно. Читать. Уроки готовить.

— Какой стол, Николенька?

— Да вот же, ломберный. Закрытого его и не видно, а откроешь, читать и писать куда как удобно.

— Как в келье у вас.

— Студенческой келье, мадемуазель Жюли. Так все студенты живут, у кого только бывать ни пришлось. Что же студенту, кроме стола да шкафа с книгами, надобно?

— И шторы такие строгие — парусинные.

— А вы сюда еще загляните. Вот моя настоящая келья. Маленькая, да зато к вашим услугам и машина электрическая, и машина пневматическая, и земной глобус, и небесный, и на стенах ландкарты. Папенька не очень моим занятиям благоволит. В чиновники меня готовит, на гражданскую службу. Так я тут в уголке и ючусь со своим скарбом.

— Вы настоящий алхимик старых времен, месье Николя!

— Как раз это наука сегодняшних дней, мадемуазель Жюли.

— А стихи? Ваши стихи, Николенька? Их нашептывает вам этот древний тополь под окном? Какое великолепное дерево! Оно словно отделяет весь мир от вас. Ваш обитаемый остров.

— Но это дерево совершенно застит свет! От него у месье Николя постоянная темнота. Разве так можно! Комнаты должны быть веселыми, как у нашей мадемуазель Додо. Свет и солнце — они создают жизнь. Я бы...

— Мадемуазель Жюли, бабушка сказала, что рубить старые деревья, все равно что рубить человеческую память. Их надо беречь.

— Просто надо жить по законам природы, а не тем правилам, которые человек пытается им навязывать.

— Как же я согласна с вами, Николенька.

...Лето проходит в поместье. Жаль... Москва так полна новостей, и одна тревожней другой. Если бы с нами мог поехать Семен Егорович, да он договорился с Тютчевыми.

Тильзитский мир... Священный союз. Победа Российской империи. Но ведь прав Семен Егорович: нельзя солдата, вчерашнего доблестного защитника нашего общего отечества, снова превратить в раба! Как же так? Снять форму, перед которой трепетала вся Европа, сдать оружие, которым побеждал и отправляться в конюшню, где тебя трус-помещик, бежавший от войны, спасавший одного себя и свое семейство, будет пороть по своему капризу.

Что пороть! Унижать, презирать. ПРОДАВАТЬ, как скотину. И разве непонятно, почему вчерашние командиры вступаются за своих бывших солдат?

Все говорят, Денис Васильевич Давыдов — громче имени не найти. Папенька подтвердил: в каждой избе гравируемый его портрет как икона в божнице висит. У Давыдовых 1812-й год все унес. Дом-красавец на Пречистенке, на углу Олсуфьевского переуллка, сгорел вместе со двором дотла. Поместье родовое — Бородино. Тут и говорить нечего: избы ни одной не осталось. Крестьян горстка, больше старики и бабы, еле-еле ноги унесла. Со службы военной его уволили будто бы по болезни, а он отродясь ничем не болел, да и за всю войну Господь его от

малейшей царапины оберет. Уволили, потому что несправедливость видел. Больше того. Своих бывших солдат-партизан, что не захотели к господам вернуться, у себя прикрывать стал.

Своих владений у него не осталось. Так, горстка земли на Орловщине, под Ливнами. Зато у молодой жены преогромное поместье в Симбирской губернии. Товарищи твердили: удачно женился. А у них распри пошли: не захотела барыня беглых солдат скрывать. Никаких резонов слушать не стала. Денис Васильевич своих товарищей по оружию и от барыни прятать принялся. Какой уж тут мир и лад в семье. Нянюшка так и сказала: злая она, как Господь таких терпит. А как Денис Васильевич?

О нем ходили легенды. Множество легенд. О его отваге. Неколебимом мужестве. Лихой бойцовой удали. Способности пренебрегать опасностью для себя и беречь каждого солдата. «Я бы стыдился, — скажет он П.И. Багратиону, — предложить опасное предприятие и уступить исполнение другому». Офицер по призванию, семейной традиции, влюбленности в ратное дело, он ненавидит смерть и не терпит жестокости даже по отношению к врагу.

Для Вальтера Скотта он тот легендарный Черный Капитан, о подвигах которого говорит вся Европа. В его существование трудно было бы поверить, если бы не вполне реальный портрет, который украсит кабинет писателя и останется со Скоттом до конца его дней. И еще — переписка. В ответ на письма романиста станут приходить написанные великолепным французским языком очерки Отечественной войны, позже подарок — старинное кав-

казское оружие. «Человек знаменитый, чьи подвиги в минуты величайшей опасности для его отечества вполне достойны удивления», — отзовется Вальтер Скотт и почтет за честь послать своему необычному адресату собственный портрет с дарственной надписью. Писатель в восторге от бесстрашного и благородного героя, Россия восхищается поэтом и воином. Литературная слава пришла к Черному Капитану много раньше воинской. А вообще, жизнь Дениса Васильевича Давыдова была ярче и невероятнее любых легенд.

Детство... Село Бородино и «страна Пречистенка». На углу Всеволжского переулка и Пречистенки — городская родительская усадьба, где он родился, куда постоянно возвращался мыслями (домовладение — Пречистенка, 13). Бородино — родовая отцовская деревня, где проходят все ранние годы. Вспоминая начало Бородинского сражения, Давыдов напишет: «Там, на пригорке, где некогда я резвился и мечтал, где я с алчностью читывал известия о завоевании Италии Суворовым, в перекатах грома русского оружия на границах Франции — там закладывали редут Раевского... Слезы воспоминания брызнули из глаз моих...»

Только тихой помещичьей жизни здесь никогда не было. Отец не расставался со своим полком. Сын рос, по собственным словам, «под солдатской палаткой».

Конец очередных маневров Полтавского легкоконного полка. В лагерь влетает на саврасом коне калмыцком Суворов. Без мундира и знаков отличия. В солдатской каске и распахнутой на груди белой рубашке. Он хочет сам поблагодарить солдат и офицеров, но не может не заметить девятилетнего мальчонку, рвущегося к его стремени.

«Кто он таков?» — «Сын командира полка». И знаменитый разговор:

— Любишь ли ты солдат, друг мой?

— Я люблю Суворова, в нем все: и солдаты, и победа, и слава.

— О, помилуй Бог, какой удалой! Это будет военный человек; я не умру, а он уже три сражения выиграет!..»

Суворовское напутствие — разве не с него, собственно, и начиналась жизнь Дениса Давыдова? Но сам он считал иначе. Первые строки давыдовской автобиографии отмечают совпадение дней рождения «двух Денисов» — французского просветителя философа Дидро и русского гусара, которые, по ироническому замечанию автора, почему-то оставили свой след в литературе.

Отдельным исследователям хотелось бы приписать Денису Давыдову превосходное домашнее образование. Но действительность выглядела иначе. Как в жизни Суворова. Французский язык, танцы, самые поверхностные представления обо всем и ни о чем. Образованнейший человек своего времени, тонкий ценитель литературы, знаток истории и естественных наук, не чуждавшийся и философии, Д. Давыдов всем был обязан самому себе. Просто надо было находить свободные от военной службы и друзей часы. Он одинаково скрывал свои занятия, свое трудолюбие и даже ту серьезность, с которой относился и к военному делу, и к литературному труду.

«Между *порохами* и *брызгами*, живя в Москве без занятий,— напишет Д. Давыдов о себе,— он познакомился с некоторыми молодыми людьми, воспитывавшимися тогда в университетском пансионе. Они доставили ему случай

прочитать «Аониды», полупериодическое собрание стихов, издаваемое тогда Н.М. Карамзиным. Имена знакомых своих, напечатанные под некоторыми стансами и песенками, воспламенили его честолюбие: он стал писать...»

Выбор службы не вызывал сомнений: конечно, армия! Семнадцати лет Д. Давыдов едет в Петербург для поступления в полк. Но на пути его желания стать кавалергардом два препятствия: небольшой рост и недостаток материальных средств. Первое он преодолет упорством, второе будет ощущать постоянно. Юнкером ему придется месяцами сидеть на одном картофеле — на разносолы денег нет. Впрочем, существовало еще и третье, самое главное препятствие — вольнолюбивый дух, который подскажет Д. Давыдову его первые поэтические произведения.

Всего три — стихотворение «Сон» и две басни. Девятнадцатилетний поэт не искал литературных связей, не пытался печататься. Да в этом и не было нужды: современники на лету подхватывают его строки. Кто в гвардии, Петербурге, Москве не знал их наизусть. «Сон» — иронический пересчет влиятельных особ. «Голова и ноги» — бунт ног против бессмысленно командующей ими головы: «Коль ты имешь право управлять, Так мы имеем право спотыкаться. И можем иногда, споткнувшись, — как же быть? — Твое величество о камень расшибить». Угроза царствующим особам! Но в «Реке и зеркале» баснописец высказывается еще откровеннее.

Старик доказывает монарху, что винить надо не тех, кто его бранит, а лишь самого себя — за ошибки. Результат? «Монарха речь сия так сильно убедила, Что он велел

ему и жизнь и волю дать... Постойте, виноват! — велел в Сибирь сослать, А то бы эта была на басню походила».

Расплата не заставила себя ждать. «За правду колкую, за истину святую, За сих врагов царей» едва начавший службу Д. Давыдов был переведен из гвардии и Петербурга в захолустный гусарский полк. За ним останется клеймо неблагонадежного свободолюбца, которое будет одинаково мешать продвижению по службе и литературной деятельности. Отныне поэт-гусар — под постоянным подозрительным наблюдением царского двора и высшего военного начальства.

Что ж, «враг царей» — он сам определил свое место в басне. И хотя на квартирах Белорусского гусарского полка ротмистр Д. Давыдов сочиняет уже не басни, а знаменитые гусарские послания, их смысл одинаково неприемлем для двора.

Биваки. Переходы. Пыл сражений. Веселье дружеских пирушек. Снова походы. А за ними тот дух «гусарской вольницы», который так досаждал Александру I. Это от суворовских орлов унаследовала она независимость суждений, чувство собственного достоинства, гордость солдата, умеющего рисковать собой, но не подчиняться бессмыслице прусской муштры. «Служить бы рад, прислуживаться тошно», — скажет словами Чацкого друг Давыдова А.С. Грибоедов. Д. Давыдов служит, и не императору — России.

Давыдовские стихи — новая страница русской поэзии. Еще никто до него не писал так открыто и откровенно о своих мыслях, чувствах, о том, что его окружает. Это род поэтического дневника, рассказа о самом себе, который рождал и новую, свободную форму стиха, и по-

чти разговорный в своей непринужденности язык. Кто только из нового поколения стихотворцев не испытал на себе его влияния! «Он дал мне почувствовать еще в лицее возможность быть оригинальным», — писал о Денисе Давыдове Пушкин, не скрывая, что «приноравливался к его слогу», брал уроки «в кручении стиха» и «усвоил его манеру навсегда».

Друзья помогут Д. Давыдову вернуться в Петербург. Но теперь он уже сам воспользуется первой же возможностью, чтобы сменить столицу на поля сражений, и почувствует себя счастливым вполне, оказавшись рядом с боготворимым им П.И. Багратионом. Он не преувеличивал, сказав через двадцать лет: «Я, который оставляю в покое и кресты, и ленты, и чины, словом, ничего не желаю, кроме команды и неприятеля...»

Участник почти всех боевых кампаний начала XIX века, Д. Давыдов «врубил имя свое в 1812 год». Первым в русской армии он понял значение и возможности партизанского движения, первым выдвинул его идею — «имел честь предложить партизанскую войну... Кутузову еще 22-го августа при Колоцком монастыре, произвел первый набег мой в селе Токареве 1-го, а второй набег в селе Царевзаймище 2-го сентября, в день вступления неприятельской армии в Москву». Никто по-настоящему не мог себе представить, к чему приведут действия 130 отданных под командование Д. Давыдова казаков и гусаров. Существенные потери наполеоновской армии в людях, дезорганизованные тылы, пленные, отбитые обозы и оружие, но главное — начало всенародного движения, которое объединило в борьбе с захватчиками весь народ и всех крестьян.

Поэт-партизан был прав: «Пусть грянет Русь военной грозой,— Я в этой песне запевала!»

Дальше шла Европа, действия в составе регулярной армии. Военная хроника того времени пестрела упоминаниями о давыдовских победах: «1 февраля 1813 года в деле под Калишем был взят в плен саксонский генерал Ностиц с 2 батальонами, двумя пушками и 1 знаменем. Делом командовал полковник Давыдов». Продолжающиеся военные успехи поэта-партизана начинают беспокоить командование, тем более вокруг него собирается все та же «гусарская вольница». И наконец наступает неизбежный взрыв.

В марте 1813 года Давыдов со своими частями превосходным маневром занял Дрезден, но тем самым нарушил приказ командования. Ему было предписано всего лишь подготовить торжественное взятие города генералом Винценгероде. За испорченное торжество придворного любимца Д. Давыдов лишается командования. «50 человек рыдало, провожая меня,— напишет он в автобиографии.— Алябьев поехал со мною: служба при партии предоставляла ему случай и отличие к награждениям, езда со мною — одну душевную благодарность мою; он избрал последнее». Речь шла о близком друге поэта композиторе А.А. Алябьеве, чья воинская храбрость не уступала его собственной.

Между тем продолжалась и «жизнь сердца», также, по словам Д. Давыдова, питавшая его поэзию. 1816 год. Страстное увлечение Елизаветой Антоновной Золотницкой. Немедленное сватовство, на первых порах успешное. На первых порах — потому что в одну из отлучек счастливого жениха, торопившегося устроить свои служебные дела, невеста отдает свое чувство князю П.А. Голицыну. И блистательные стро-

ки поэта: «Неужто думаете вы, Что я слезами обливаюсь, Как бешеный кричу, увы И от измены изменяюсь?»

1819 год. Очередная московская новость, которую спешит сообщить в Варшаву П.А. Вяземскому Василий Львович Пушкин: «Денис Давыдов женится на Чирковой. Она мила — и у нее 1000 душ. Я радуюсь за нее и за него». Скрытый намек понятен: невесте уже 24 года, жених, как всегда, нуждается в средствах. 16 марта того же года: «Денис Давыдов точно женится на Чирковой, и я недавно был у невесты, которая мне показалась очень любезною». 29 апреля: «Денис Давыдов разъезжает со своею молодою женою в четверместной карете и кажется важен и счастлив».

Как долго продолжалось увлечение семейным счастьем? Очень скоро Д. Давыдов возвращается к своим гусарским друзьям и привычкам. Но вместе с А.А. Алябьевым ему приходится, вопреки собственному желанию, оставить армию. В ноябре 1823 года одним приказом увольняются в отставку «за болезнь» никогда не хворавший генерал Денис Давыдов и «за ранами» не знавший ни одного серьезного ранения подполковник Александр Алябьев. Для обоих отставка была одинаково неожиданной и болезненной.

Давыдов во власти противоречивых чувств. Он не мыслит себя вне армии, но в условиях аракчеевского режима не может не сказать: «Благодарю Провидение за избавление меня от наплечных кандалов генеральства». Наконец-то у него появляется возможность специально заняться литературой, записками о партизанском движении, начать собирать материалы для фундаментального труда о Суворове. И дело здесь не в увлечении историей, а в утверждении принципов, на которых строится русское военное дело, в борьбе за бережное и уважительное отношение к

солдату: «Я теперь пустился в записки свои военные, пишу, пишу и пишу. Не дозволяют драться, я принялся описывать, как дрались».

Из дома, который они снимали в Трубниковском переулке (№ 26), Давыдовы перебираются в собственное городское поместье в Знаменском переулке (№ 17). Д. Давыдов признается, что сам не замечает, как все большие права заявляет на него литература. Он член литературного общества «Арзамас». Дружеские отношения связывают его с А.С. Грибоедовым, А.С. Пушкиным, П.А. Вяземским, Е.А. Баратынским, Н.М. Языковым, В.А. Жуковским, Н.В. Гоголем. Д. Давыдов много печатается в журналах, но до сих пор не удалось составить полный список напечатанного им — так мало придавал сам автор значения своим произведениям. Мог публиковаться без подписи. Радовался похвалам и не испытывал обиды, если оставался незамеченным. У него редкая способность увлекаться чужими произведениями и быть постоянно неудовлетворенным своими.

Впрочем, поэтические строки Д. Давыдова по-прежнему как всплеск бурно охватывающего поэта чувства, как неожиданно для него самого вырвавшиеся слова душевной исповеди. Годы не старят поэта:

Я каюсь! я гусар, давно, всегда гусар,
И с проседью усов — все раб молодой привычки:
Люблю разгульный шум, умов, речей пожар...
Бегу век сборища, где жизнь в одних ногах,
Где благосклонности передаются весом,
Где откровенность в кандалах,
Где тело и душа под прессом...

Даже близкие друзья порой не догадываются, как сложно все укладывается в его жизни. Вышедшая в 1832 году книжка стихов останется единственной изданной при жизни. Материальные обстоятельства вынуждают жить вдали от литературной Москвы и Петербурга в симбирском селе Верхняя Маза. Тридцать девять стихотворений после двадцати девяти лет работы. Небрежно набранные. Напечатанные на плохой бумаге. Надо бы проследить самому, но Давыдова все нет в Москве — за Знаменским переулком незаметно промелькнул дом на Смоленском бульваре. Стали привычными долгие месяцы в Верхней Мазе. Помощь друзей? Но у каждого из них свои заботы, а поэт-гусар не умеет ни просить, ни быть навязчивым.

Верхняя Маза, иначе «Новая деревня», с ее похожим на сарай деревянным домом, мезонином в три окна, круговой дощатой галереей и единственным, заменявшим и парк, и лес украшением — копаным прудом, вокруг которого Денис Васильевич сам посадит ветлы. К тому же не утихает семейный разлад. Д. Давыдов бунтует против жестокостей крепостного права — жена придерживается прямо противоположных взглядов. Верный себе, отставной генерал оказывает покровительство и помощь беглым крестьянам, с которыми сражался когда-то в партизанских частях, но это одинаково раздражает и жену, и местное начальство. Его глубоко волнует и возмущает распространившийся в 1830-х годах либерализм на словах. Строки последнего стихотворения, написанного в 1836 году, станут крылатыми в политической борьбе последующих лет: «А глядишь: наш Мирабо Старого Гаврилу За измятое жабо Хлещет в ус да в рыло. А глядишь: наш Лафай-

ет, Брут или Фабриций Мужиков под пресс кладет вместе с свекловицей». И вдруг среди этих мыслей, душевной подавленности — новый московский адрес, как обещание перерождения, почти новой жизни.

Дом значился под № 201 Пречистенской части, почти рядом с бывшим отцовским двором, и составлял собственность генерал-майора Гаврилы Бибикова, отца двух декабристов.

Двухэтажный, каменный, в глубине окруженный флигелями двора, он рисовался одной из тех городских усадеб, которыми была так богата допожарная Москва (Пречистенка, 17). Приносит дому немалую известность и крепостной музыкант Бибиковых Данила Кашин, композитор и дирижер крепостной капеллы. Кашин первым введет в Москве практику авторских концертов. «Где после нашего 12-го года, где не гремел хор его «Защитники Петрова града», — напишет один из современников Кашина. — Где не гремели и другие тогдашние его русские напевы?» Печать тех лет не называла его иначе, как «любимцем граждан московских». Его узнавали на улицах, с ним раскланивались, зазывали на частные вечера.

В 1831 году в доме на Пречистенке побывает на балу Пушкин. Еще через четыре года дом перейдет к Денису Давыдову. Он будет приобретен на имя его жены «генерал-лейтенантши» Софьи Николаевны. «Что это за дом наш, мой друг, — пишет Д. Давыдов П.А. Вяземскому. — Всякий раз, как еду мимо него, люблюсь им; это отель или дворец, а не дом».

«Пречистенский дворец» назовет его Д. Давыдов. Здесь будут написаны им знаменитая «Современная песня», сти-

хотворения «Листок», «Я помню». Здесь побывают Е.А. Баратынский, П.А. Вяземский, Н.М. Языков, историк М.П. Погодин, герой Кульма и Бородина двоюродный брат хозяйна А.П. Ермолов. Д. Давыдов мечтает увидеть своим гостем Пушкина. Но этой встрече не суждено было состояться. Всего через несколько месяцев после новоселья Д. Давыдов посылает Пушкину в Петербург стихотворную челобитную, опубликованную в мартовском номере журнала «Современник» за 1836 год. В шуточной форме поэт просит своего старого знакомого сенатора А.А. Башилова, ведавшего Московской комиссией по строениям, помочь ему срочно продать «Пречистенский дворец» в казну:

О мой давний покровитель,
Сохрани меня, отец,
От соседства шумной тучи
Полицейской саранчи,
И торчащей каланчи,
И пожарных труб и крючий.
То есть, попросту сказать:
Помоги в казну продать
За сто тысяч дом богатый,
Величавые палаты,
Мой Пречистенский дворец.
Тесен он для партизана:
Сотоварищ урагана,
Я люблю, казак-боец,
Дом без окон, без крылец,
Без дверей и стен кирпичных,
Дом разгулов безграничных

И налетов удалых,
Где могу гостей моих
Принимать картечью в ухо,
Пулей в лоб иль пикой в брюхо,
Друг, вот истинный мой дом!

Но вряд ли дело было только в том, что дом не отвечал привычкам поэта-партизана. Денис Давыдов не доволен близостью пожарного депо и располагавшейся через улицу Пречистенской полицейской части. По всей вероятности, возникают и какие-то разногласия между супругами. Софья Николаевна с первых же дней принимается за перестройку дома, поэт остается к этим работам совершенно равнодушным. В последнем письме из «Пречистенского дворца» П.А. Вяземскому в мае 1837 года Денис Давыдов пишет: «Что мне про Москву тебе сказать? Она все та же, я не тот...»

Состояние меланхолии было усилено смертью Пушкина, глубоко пережитой Денисом Давыдовым. В письмах с Пречистенки рождается своеобразная эпитафия поэта: «Пройдя сквозь весь пыл наполеоновских и других войн, многим подобного рода смертям я был виновником и свидетелем, но ни одна не потрясла душу мою, подобно смерти Пушкина... Какая потеря для всей России!»

Дениса Давыдова не стало в 1839 году в той же Верхней Мазе. Половодье размыло дороги. До ближайшего врача было 25 верст. Впрочем, Софья Николаевна, жалея лошадей, за ним и не подумала вовремя послать. Только через шесть недель сошла вода, и тело поэта стало возможным перевезти в Москву на кладбище Новодевичьего монастыря.

А между тем легенды продолжали множиться. История литературы едва ли знает другой пример такого множества стихов, посвященных поэту его современниками — от самых знаменитых до безымянных. Денис Давыдов был «отцом и командиром» не одного Пушкина. Прав Е.А. Баратынский, назвавший его «певцом-наездником, именем которого справедливо гордятся поэты и воины». И еще один памятник поэту-партизану — висевший в избах по всей России лубочный портрет с надписью: «Храбрый партизан Денис Васильевич Давыдов».

...Масляную в доме Огаревых не пропускали никогда. Батюшка Николеньки и столы с блинами ставил, и праздники задавал, и катания на своих караковых устраивал. Кто бы отказался.

Дом у них самый красивый на Большой Никитской. Откуда ни посмотри, настоящий дворец — и на Никитскую, и в Калашный переулок, и на Никитский бульвар выходит. Да еще со стороны бульвара терраса широченная — обзор на всю округу.

Злые языки поговаривали: расхотелось барину в тиши переулков сидеть, решил спесь свою потешить. А лестница с Большой Никитской какая! Сенями не назовешь — на самом деле, вестибюль. Ливрейные лакеи чуть не на каждой ступеньке. На площадке — диванчики для отдыха.

Старшие ходят, дивятся. Хозяину комплименты говорят. У молодых свое. Может, и не по возрасту о бунте солдат Семеновского гвардейского полка рассуждать, зато по мыслям. Господа офицеры подчиненных не осудили, зато сами осуждены. Князь Федор Шаховской, что так недавно

на княжне Щербатовой женился, в крепости. Молодая из дому не выходит, разве что в церковь, и то во всем черном, как вдова. Лицо под вуалью. На все почтительные поклоны чуть-чуть голову наклоняет.

А ведь недавно вся Москва красавицей-княжной любовалась. Наездница лихая — таких среди гусарских офицеров поискать. Балами не интересовалась. Все больше о политике разговоры вела. Около нее студенты университета: кузен ее Петр Чаадаев, Александр Грибоедов — его матушке Огаревы родственниками приходится, Вильгельм Кюхельбекер. Батюшка княжны — человек чиновный, правопорядок уважающий, от молодежи в своем доме только сторонился да наказывал за прислугой строго-настрого следить, чтобы где не проболтались.

А тут все одно к одному. Государь Александр Павлович с гусарской вольницей, по его словам, бороться решил. Скольких во главе с Денисом Давыдовым одним махом из армии уволил. У каждого грудь в орденах, золотые сабли за храбрость — и никаких разговоров.

За Денисом Васильевичем и на Александра Алябьева черед пришел. И его со службы вон. Его-то, композитора всеми любимого! В театре что ни премьера, то непременно с его музыкой. Начальнику музыкальной части казенной московской сцены господину Верстовскому потесниться пришлось.

Оказалось, Денис Васильевич еще дешево отделался от императорского гнева. Александру Александровичу Алябьеву куда горше пришлось. Дело на него завели. Вину небывалую свалили. Слуг крепостных в полицейских участках до тех пор били, чтобы на хозяина донос всклепали.

Сказывали, никто не дрогнул, хотя полицейские и жандармы никого не жалели.

Старшие столько об алябьевском деле толковали, что все подробности и младшим известны стали. Обвинили героя войны в убийстве, а убиенный-то жив был. Позже Богу душу по болезни отдал. Всего композитора-офицера лишили: дворянства, всех наград и состояния. Нищим да бесправным в Сибирь навечно сослали.

И Москве все знали: сочиняли дело. Вопреки фактам, свидетельствам очевидцев, простому сопоставлению событий. Ни для кого не секрет: полковник Алябьев не играл в карты. Вернее, играть мог, но не любил. Ничто ему не могло заменить музыку. Товарищи по армии подсмеивались: за хорошие обеды и ужины — а денег на них Алябьев не жалел, да и сестрица, у которой проживал, была хозяйкой редкостной — приходилось расплачиваться необходимостью по окончании стола выслушивать музицирование хозяина. Тут уж остановить полковника никто не решался.

Пьяная драка за столом? Не таким была обычным делом среди настоящих гусаров, что уж говорить об Алябьеве. Дуэль — куда ни шло, если причина оказывалась достаточной. Вот только, известно, полковник причин не искал: боевой офицер, одно слово.

Суд сенатский по совести разобрался, признал полковника ни в чем не виновным. Все всплыло: и как слуг до полусмерти в участке били, и как соседей запугивать старались. Господа судьи не вчера родились: оправдали. Так

нет, один нашелся — поперек всех пошел. Бумаги одну за другой катать стал. Иван Иванович Пущин. Никаких доказательств во внимание не принял. Проект приговора сочинил. Всего Алябьева лишить. Дворянства. Состояния. Боевых наград. Не то, что проект составил — требовать осуществления стал. Будто с личным врагом боролся. Ни тебе совести, ни человечности. Незамужняя сестра полковника, Екатерина Александровна Алябьева, как и москвичи, недоумевала: почему?

Сколько чиновников старалось. Даже сам шеф жандармов никакой вины за господином Алябьевым найти не смог — так и государю представил. И хоть сменился к тому времени государь — Николай Павлович на престол вступил, — все равно осудить приказал. Что ни в чем не виновен, понятно, а держать таких подальше от столиц надобно. Приговор подтвердил. Сенатской площади побоялся. События на ней только-только произошли.

У вот как тут разобраться? Все в душе кипит возмущением, обо всем хочешь и надо писать. Стихи сами из груди рвутся. А рядом самый великий поэт, о котором все говорят, оду его «Вольность» читают. Семен Игоревич сам с ним знаком — в Одессе встретился. Пушкин в Москве! Сам Пушкин! Только бы его встретить, увидеть, может, если судьба, пару слов сказать. Свою судьбу в поэзии решить. И как нарочно — гулянье под Новинским...

— В Москве? Так быстро?

— Каким образом?

— Кто разрешил?

— Думаете, новая ссылка?

— Все может быть. Говорят, он назвал ссыльных своими товарищами и что должен был быть с ними.

— Кому сказал?

— Будто бы, императору.

— И тот пожелал с ним говорить? Император?

— Невероятно!

У гулянья был свой порядок. Собственно, гуляний в Москве всегда хватало, но это — геплым временем. А тут зима. Еще при Дмитрие Донском располагалось здесь село Кудрино и принадлежало оно двоюродному брату великого князя Московского Дмитрия Ивановича Донского — Владимиру Андреевичу Серпуховскому. Обок стоял древний монастырь, считавшийся, как и село, загородным.

При царе Федоре Иоанновиче стала на месте позднего Садового кольца могучая оборонная стена. Современники утверждали: «в голландском вкусе», со многими башнями и бастионами. В пожаре 1611 года от нее не осталось и следа — вместо былой крепости соорудили могучий Земляной вал.

Но к концу того же века и в Земляном вале не осталось нужды. Открывшееся у монастыря свободное место отвели под народные гулянья на Рождество, Масляную и Святую неделю, «для полирования народу», как выражался император Петр Великий. Городок-скороспелку полагалось строить за один день. По внутренней стороне проезда — к городу — располагались питейные заведения, всяческие «ресторации» на открытом воздухе, палатки со всевозможными лакомствами. Додо и через годы помнила их наизусть: цареградские стручки, жамки, пряники и сорок сортов душистой пастилы.

Непременным сооружением был здесь знаменитый «колокол» — шатер с водруженной на нем зеленой елкой. Так отмечалась торговля водкой. И торговля велась здесь особыми мерками — «плошками» и «крючками», почему и давали в то время в Москве не «на чай», а «на крючок».

А вот наружную от города сторону проезда занимали всяческого рода увеселения. Успевали здесь наспех соорудить и «коньки» — простые карусели, и «самокаты» — карусели с колясками. С «самокатами» было самое веселье. Забираться в них надо было по высокой, едва ли не на два метра, приставной лестнице, которая от избытка желающих скоро рассыпалась. Тогда ее заменяли плечи и руки охотников. По ним можно было добраться до коляски, а в случае недосмотра добровольных помощников и слететь на землю под общий хохот и визг. Рисковали многие, в том числе и девки, а толпа зевак веселилась до упаду. Рядом с каруселями взлетали десятки качелей, но самыми привлекательными в этом ряду оставались балаганы.

Все «состояния» москвичей смешивались здесь в общую толпу. Не каждому из этой толпы была по карману даже грошовая плата за представление, зато перед каждым балаганом был балкон, откуда зазывалы шутками и прибаутками завлекали публику. Здесь работали и первые в Москве цирковые труппы с фокусниками, канатоходцами, дрессированными животными и школой верховой езды. Обязательно показывались «дикие звери» — перед посетителями проходили слон, тигр, барс и прочие, как объявлялось в афише, «звери и насекомые».

Даже искушенные знанием петербургской жизни любители признавали, что «декорационная и машинная части

были здесь довольно хороши». Имелись в виду и цирковые представления, и «волшебные-комические пантомимы», и «кукольный театр с разными превращениями», и «итальянский порчинель» — Петрушка, и «механический театр».

Соблазнов было множество, но поддаваться им не приходилось. От обеих рядов построек центральная часть проезда отгораживалась узорной балюстрадой, и вот она-то и предназначалась для проезда экипажей. До пятнадцати лет нечего было и думать смешаться с толпой, но Додо минуло шестнадцать. Ее уже собирались начинать вывозить в свет. А пока с братьями и гувернанткой она могла приблизиться к «простонародным развлечениям». Как и Пушкин! Первая встреча с поэтом — среди шумной, веселой толпы, на московской улице.

Стихи, которые сложились по этому поводу и ей самой не представлялись удачными, но все же они появились:

Вдруг все смешалось, и с волнением,
Одним стремительным движеньем
Толпа рванулася вперед
И мне сказали: «Он идет»...
Он — наш поэт, он — наша слава,
Любимец общий! Величавый
В своей особе небольшой,
Но смелый, ловкий и живой,
Прошел он быстро предо мной...

8 апреля 1827 года — она записала этот день. И запомнила на всю жизнь. Увидеть Пушкина. Она знала столько пушкинских строк! Их не было нужды публиковать: в

списках они мгновенно расходились по всем хоть сколько-нибудь причастным к литературе домам. А родной дядюшка, который учился вместе с Грибоедовым, познакомился с совсем маленьким поэтом и позже самолично передал ему поэму М.М. Хераскова «Бахариана», которая под гениальным пером превратилась в «Руслана и Людмилу». В доме Сушковых знали и переживали все перипетии Пушкина. Впрочем, даже в Москве он сам дал неиссякаемую пищу для разговоров.

Сватовство! Буквально через несколько дней после приезда, еще, следуя французской поговорке, «не распаковав чемоданов». Но особую пикантность ситуации придавало, что избранница его сердца приходилась поэту дальней родственницей и носила его фамилию! Московские дамы не могли сдерживать улыбок: как это удобно — не будет нужды заказывать приданое с новыми инициалами.

Додо не знала правды. Говорили, что будто фельдъегерь прямо с дороги привез Пушкина в Кремль, для разговора с императором, и только после объявленных условий цензурования всего, что напишет поэт, венценосной особой, он получит возможность добратся до гостиницы на Тверской, в бывшем дворце Гагариных (что не мешало ее номерам быть и дурно убранными, дешево обставленными). Первый дом, который он навещает, конечно, дядюшки Василия Львовича на Старой Басманной.

Конец немалый, но Пушкина всегда отличала тяга к родственным узам, далеко не всегда ответная. Сюда мчится с бала, — где разнеслась весть о приезде изгнанника, — С.А. Соболевский, заставший гостя за семейным ужином. Пушкин, не задумываясь, принимает приглашение при-

ятеля переехать к нему на холостяцкую квартиру. Поэт вообще настаивал на том, что это его родные места и появился он на свет на Молчановке.

Один из первых московских визитов — Василий Петрович Зубков, снимавший квартиру у Никитских ворот в настоящем дворце побочного сына императрицы Екатерины II от графа А.Г. Орлова, графа Бобринского. Собственно дружбы между Пушкиным и Зубковым не было — был общий близкий друг Иван Иванович Пущин. Его судьба беспокоила поэта.

Воспитанник Марьинского училища колонновожатых, Зубков еще в 1819 году вышел в отставку. Его больше устраивала гражданская служба. К возвращению Пушкина в Москву он занимал должность советника и товарища председателя Московской палаты уголовного суда. Это не спасло Зубкова от привлечения к следствию по делу декабристов как члена «Общества семисторонней, или Семиугольной, звезды», иначе — Практического союза, основанного в свое время И.И. Пущиным. Отделался Зубков сравнительно недолгим пребыванием в Петропавловской крепости, но мог многое знать о дорогом сердцу Пушкина «Жанно». Первый же визит оказался для Александра Сергеевича роковым. Сестра хозяйки, кажется, не слишком торопившаяся с замужеством, Софи Пушкина, считалась одной из первых красавиц Москвы.

Высокая, стройная, с «тончайшей» талией, великолепным греческим профилем и «черными, как южная ночь» огромными глазами, Софья Федоровна была к тому же умна, остроумна, «зналась с литературой» и необычайно обходительна. Она не искала поклонников, и, значит, они искали ее.

Подружившийся с Пушкиным еще в одесские годы поэт Федор Туманский (кстати, разделявший чувства Пушкина к Амалии Ризнич) как раз в это время напишет посвященные Софье Пушкиной строки:

Она черкешенка собою —
Горит агат в ее очах,
И кудри черные волною
На белых лоснятся плечах.
Любезна в ласковых приветях,
Она пленяет простотой,
И живостью в своих ответах,
И милой резвой остротой.
В чертах лица ее восточных
нет красоты — видна душа,
Сквозь пламень взоров непорочных,
Она как радость хороша.

Пушкин тут же отвечает куда более восторженным отзвучием:

Нет, не черкешенка она;
Но в доли Грузии от века
Такая дева не сошла
С высот угрюмого Казбека.
Нет, не агат в глазах у ней,
Но все сокровища Востока
Не стоят сладостных лучей
Ее полуденного ока.

Никто не удивился любви с первого взгляда. Пушкин сам признавался, что видел Софью Федоровну один раз в театральной ложе, один — в бальной зале, на третий — сделал предложение.

Москва не осталась равнодушной к пылкости поэта, но и не очень удивилась ей. Слишком много слухов о его увлечениях ходило, слишком много имен очаровательниц называлось. Додо никак не могла отнести к себе происходившее. В конце концов, она еще не была барышней, ее не вывозили в свет, и Пушкин еще для нее относился к миру взрослых.

Правда, где-то в глубине души она сравнивала себя с записной московской красавицей. Но это — совсем втихомолку, ни с кем не делясь своими мыслями. Коли бы только брат не обронил случайно, не придавая значения собственным словам, что она имеет сходство с дочерью воронежского губернатора и через пару лет та не сравнится с красотой Додо. Но ведь это брат!

А между тем Пушкин не получил отказа. Как и согласия! Софья Федоровна не захотела терять слишком знаменитого поклонника. Она даже назначила ему срок, когда он может приехать за окончательным ответом. «Велела», по рассказам самого поэта, быть к зиме. Пока же он направлялся в Михайловское и, почем знать, впервые задумался над общей судьбой, если таковая им предначертана.

В дороге случилось непредвиденное. Уже на обратном пути возок Пушкина опрокинулся, и так неудачно, что ездок сильно ушибся о заледенелую колею. Пришлось достаточно долго отлеживаться в Пскове. Дурная примета? Предупреждение? В письме Зубкову поэт напишет: «Могу

ли я быть возле нее? Не личное, мое счастье заботит меня, могу ли я возле нее не быть счастливейшим из людей, — но я содрогаюсь при мысли о судьбе, которая, быть может, ее ожидает — содрогаюсь при мысли, что не смогу сделать ее столь счастливой, как мне хотелось бы, жизнь моя, доселе такая кочующая, такая бурная, характер мой — неровный, ревнивый, подозрительный, резкий и слабый одновременно, — вот что наводит иногда на меня тягостные раздумья. Следует ли мне связать с судьбой, столь печальной, с таким несчастным характером — судьбу существа такого нежного, такого прекрасного».

Но все эти мысли приходят после несчастного случая на дороге. И — суеверия берут верх: задуманная свадьба не принесет удачи. Иначе — откуда такое предупреждение?

Пушкин в самом деле не может тронуться в путь или вылеживает свое окончательное решение? Первым об этом скажет, по словам брата Дмитрия, дядюшка Василий Львович, пусть не слишком близкий с племянником, но досконально знавший — его собственные слова — «эту непростую породу Пушкиных». Или Ганнибалов — с их бесконечными матримониальными сложностями. Как-никак Василий Львович оставил свою первую, и притом законную, супругу, чтобы свить гнездо с некой «особой купеческого звания». Недаром в его доме бывала лишь мужская половина московского общества.

Нет, так думать Додо не хотела. Хотя стихи, написанные меньше года назад по поводу случайной встречи со связанной брачными узами Анной Петровной Керн на Псковщине, были неотразимы. Кто только не знал их на память:

Я помню чудное мгновенье
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты...

• • •

В доме на Чистых Прудах, как всегда, первые известия о Пушкине.

— Вы слышали, Пушкин добрался до Москвы.

— На этот раз в действительности?

— Вне всякого сомнения. И остановился на Собачьей площадке у Соболевского.

— Дядюшка Василий Львович получил отставку?

— Что-то вроде того. Но Пушкин к тому же не терпит детской возни и неустроенности, которой на Басманной сверх всякой меры.

— Василий Львович всегда отличался покладистостью по сравнению с племянником.

— Может, и так. Но ведь Пушкин не был в тот приезд в восторге и ото всей Москвы.

— Князь Вяземский толковал, что он ему на древнюю столицу жаловался и единственным извинением для нее нашел, что с друзьями все же лучше видеться, чем переписываться.

— Но ведь он не остался равнодушным и к идее журнала.

— А вы имеете в виду «Московский вестник»?

— Только бы что-то путное из него получилось. У издателей лишних денег нет, а опыта и вовсе никакого.

— Ну, и что вы видите в этом особенного? Поверьте, их проигрыши в карты за год составят куда большую сум-

му. Год воздержания от привычного удовольствия — только и всего.

Додо не терпелось услышать хоть что-нибудь о намечавшейся свадьбе, но разговоры велись так, как будто подобного события и не намечалось.

Разрыв? Отказ с той или другой стороны? Это всегда означало крайне щекотливую ситуацию. Но просто молчание! Друзья братьев толковали о неустроенности дома Соболевского, «Мефистофеля», как его звали в Царско-сельском лицее за непомерно длинный острый нос, такую же непомерную худобу и рост, заставлявший при каждом движении складываться вдвое. Светло-голубые, как цветущий лен, глаза не смягчали общего впечатления и не давали надежды на снисходительность в оценке окружающих, которой Соболевский, впрочем, и не отличался. Мало кто мог себе позволить строки о лежащем в гробу Пушкине:

Здорово, новый камер-юнкер!
Уж как же ты теперь хорош:
И раззолочен ты, как клюнкер,
И весел ты, как медный грош.

В доме на Собачьей площадке не было ни тепла, ни порядочной еды. В предоставленной ему комнате Пушкин сидел на неубранной кровати, в накинутом на плечи тулупе и мог часами возиться с только что родившимися щенками датской собаки хозяина, которую поместили как раз у постели поэта. Двери постоянно хлопали, гости обычно без приглашения и без предупреждения собирались в од-

ной общей гостиной, и какие гости! «Вот где собирались Веневитинов, Киреевский, Шевырев, Рожалин, Мицкевич, Баратынский, Погодин... и другие мужи; вот где болталось, смеялось, вралось и говорилось умно!»

Зато в комнате Пушкина, между двумя окнами, размещался письменный стол и над ним святой для поэта портрет Василия Андреевича Жуковского с надписью: «Ученику победителю от побежденного учителя». Но портрета невесты не было и здесь.

Ответ пришел случайно. В свете заговорили о свадьбе Софьи Федоровны Пушкиной с ее давним обожателем Паниным. Двадцатилетняя красавица не спешила со свадьбой раньше, не торопилась себя связывать брачными узами и, кто знает, не пушкинский ли темперамент ускорил решение не в его пользу! Софья Федоровна могла сослаться на продолжительное отсутствие Пушкина. На самом деле поэт оставил Москву в первой половине ноября и уже 19 декабря поселился у Соболевского. Этого времени невесте хватило, чтобы отдать свою руку другому. А ведь это 1 ноября. Пушкин напишет в квартире Зубкова строки, предназначенные Софье Федоровне, которые просит передать ей. Сам поэт не может решиться на такую откровенность:

Зачем безвременную скуку
Зловещей думою питать,
И неизбежную разлуку
В унынье робком ожидать?
И так уж близок день страданья!
Один, в тиши пустых полей

Ты будешь звать воспоминания
Потерянных тобою дней:
Тогда изгнанием и могилой,
Несчастный, будешь ты готов
Купить хоть слово девы милой,
Хоть легкий шум ее шагов.

Стихи ходили по Москве. Но передал ли их Зубков адресату, никак не сочувствуя свадебным замыслам поэта?

В том-то и дело, что нет! Пушкин даже не заметил, как осторожно, но упрямо противостояли родственники красавицы его чувству. А между тем имя Софьи Федоровны мелькает во многих письмах этой поры. С княгиней Верой Федоровной Вяземской, своим всегдашним исповедником, он поделится, что «С.П. — мой добрый ангел». Князю Вяземскому сообщает, что решил не ездить в Петербург, тем более не задерживаться в Михайловском: «Она велела!» Соболевского просит передать письмо Зубкову «без задержания малейшего. Твои догадки — гадки, виды мои гладки». Москва готовится к пышному венчанию Софьи Федоровны с Валерьяном Александровичем Паниным.

Отвергнутый жених — таким он станет для родителей многочисленных московских невест, но не для нее! Для Додо все случившееся — досадное недоразумение, возникшее из-за вмешательства родственников. Несмотря на юный возраст, Додо много о таких обстоятельствах знает. Да и вообще какое там прошлое, когда наконец-то у нее появляется возможность видаться и на равных говорить с поэтом: Авдотью Петровну вывозят в свет! А это право на очень многое. Она уже не восхищается своим кумиром

издалека, как под Новинским — на одном из первых же балов ей представляют поэта.

Кокетство? Такое естественное желание понравиться самому Пушкину? Но женские уловки всегда были чужды, тем более неожиданно повзрослевшей, Додо. Нет, только поэзия! Она хочет получить оценку своих поэтических опытов, и это для нее, уже печатающейся в журналах поэтессы, самое главное.

Но, оказывается, Пушкину знакомо и ее имя и ее стихи. Он уже обратил на них внимание и хочет услышать как можно больше. Вечер, который она будет благоговейно вспоминать до конца своих дней, — целый вечер на балу, который поэт не отойдет от юной красавицы, заставляя ее вспоминать все новые и новые строки. Пушкин очарован даром русской Сафо и совершит ошибку, которая незаметно, но немедленно воздвигнет между ними стену. Больше Сушковы и Пашковы не дадут ей возможности личных разговоров, встреч один на один, долгих бесед. Она и не заметит безмолвного договора близких. Между тем перед глазами Додо разыгрывается драма, о которой она будет писать и бесконечно сочувствовать ее участникам. Сосланный в Москву Адам Мицкевич и близкая Додо, тоже одаренная поэтесса Каролина Яниш. Кого имел в виду Пушкин (если отказаться от слишком многочисленных домыслов) в строках «а счастье было так возможно, так близко...»? И чей малиновый берет увидел на голове Татьяны, уже супруги Гремина? Все может оказаться простым совпадением: о такого рода головном уборе на головке Софьи Федоровны Паниной толковала вся Москва.

МОСКОВСКИЕ НЕВЕСТЫ

— Итак, она влюбилась в Пушкина, а он не оставался равнодушным к ней. Почему-то брак не состоялся.

— Но, в конце концов, разве не могла она пойти на адюльтер? Это ничего бы не изменило в ее семейном раскладе. Просто более тщательное соблюдение тайны — и вопрос решен. Бесконечно ни одно чувство продолжаться не может. Оно высыхает и выцветает как любой самый прекрасный цветок. Ведь могла же королева Гортензия...

— Мы договорились с тобой раз и навсегда: никогда и ни при каких обстоятельствах не касаться личной жизни королевы.

— Извините, отец, но я просто констатировал общеизвестные слухи. От них никуда не уйти, и Людовик XVIII для всех французов — потомок Наполеона.

— Если бы это и соответствовало действительности, я не собираюсь множить собой ряды сплетников-обывателей. Королева сохраняла дух и смысл бонапартизма — нравится он тебе или нет, — и одного этого достаточно.

— Но сложности в положении королевы — это не затруднения в жизни графини, и не могут иметь такого значения для окружающих.

— Видишь ли, Александр, конституция графини включала самую возможность адюльтера. Она умела мечтать, отдаваться своей мечте, но не разменивать ее со случайным прохожим в своей жизни. Если хочешь, здесь была определенная и физиологическая настроенность.

— Которая, как ты считаешь, не имела отношения к ее красавцу-мужу.

— Безусловно. Граф не понимал, может быть, в силу молодости и житейской неопытности, что она внутренне не замечала его.

— Супруги не говорили между собой?

— Почему же! Графиня была вполне светской женщиной, а это значит, произносимые слова как бы лились сами собой. Она походя отвечала на вопросы, бросала реплики, но — вообрази себе, — никогда не вступала с графом в дискуссии, которые так любила в отношении некоторых собеседников.

— И вас, отец, в частности.

— Мне бы хотелось так польстить самому себе, но это был бы заведомый и незаслуженный комплимент. Граф мог едва ли не часами рассуждать о картинах, старых художниках, удачно приобретенных гравюрах. Графиня довольствовалась одним брошенным на это богатство взглядом.

— Она была равнодушна к искусству?

— Не думаю. Скорее это была особенность ее восприятия.

— Не поверю, чтобы вы не искали подходов к ее сердцу или уму, раз она так вас занимала. А упорства вам не занимать. Вы не терпите незавершенной осады.

— А, знаешь, в какой-то момент мне показалось, что я приблизился к разгадке ее тайны.

— Вот видите!

— Только все здесь совсем не просто. Помнится, графиню даже по прошествии многих лет продолжали волновать судьбы карбонариев русских, выступивших против

царя в Петербурге. Я говорил, она называла их «декабристами». Графиня говорила, как переживала Москва их казнь и ссылку, как в московском оперном театре в момент, когда кибитки увозили осужденных в Сибирь, в одежде каторжников, закованными в кандалы — и это блестящих русских аристократов, да еще и прославленных офицеров, — их знаменитый певец неожиданно исполнил специально написанную песню прощания. Женщины в зале лишались чувств, мужчины обливались слезами.

Я оказался, по-видимому, бестактным, потому что с искренним изумлением спросил, как же мог именно в это время привезенный из ссылки их знаменитый поэт Пушкин договариваться с новым царем о лояльности, посещать в частных домах балы и даже с ней познакомиться на каком-то московском народном гулянье. Смысл договоренности с новым императором сводился, мне об этом рассказывали, к тому, что венценосец брал на себя лично обязанности цензора всех будущих произведений поэта. Он один и никто другой.

— Но ведь это ужасно! И безвыходно. Такой договор не оставляет никаких обходных путей.

— В России особенно. Именно это я и сказал графине. И что самое удивительное: она встала, подошла к окну — разговор происходил на вилле близ Рима, — долго молчала. А потом как-то очень тихо заметила, что это могла быть еще одна обманутая надежда человека, который больше всего хотел работать, печататься и надеялся... на лучшее.

— Святая простота!

— О, нет. В ее голосе было столько неизжитого сочувствия, если не боли. Так говорят, вопреки здравому смыс-

лу, только об очень дорогих людях. Почти как о самом себе. Я бы сказал, она не обращалась мыслями к прошлому — она продолжала ими жить до сегодняшнего дня. И она ни единым словом не осудила поэта. Много позже, уже после ее кончины, я узнал, графиня писала только о неразделенной любви. Ее так и называли современники: поэтессой безответной любви. Теперь мне пришло в голову, а что если это был ушедший из жизни поэт?

— Но ведь когда они встретились в Москве, оба были свободны? Она — аристократка, умница, с большим поэтическим талантом, красавица, наконец, по твоим же словам. Сколько ей было лет в момент их знакомства?

— Я запомнил только, что ее на следующую зиму впервые стали вывозить в свет.

— Как же она должна была быть хороша! Или поэт не обратил на нее внимания? Он был слишком привередлив, его вкус слишком изыскан?

— Он только что вернулся из многолетней ссылки, сначала в пыли южных степей, потом в глухой отцовской деревне. Его наказали едва ли не сразу по окончании лица и начала службы в какой-то ничтожной государственной должности.

— Бог мой, но что же тогда? Они не имели случая ближе познакомиться?

— Имели. Поэт целый вечер разговаривал с очаровательной Додо. Все утверждали, он потерял от нее голову.

— Что же тогда? Что?

— Знаешь, я до сих пор помню подробности ее рассказа об этой встрече.

— Он был таким красочным?

— Скорее, пережитым. И неизжитым.

— Но судя по портретам, Пушкин не был слишком красив. Вы не видели его, отец?

— Конечно, нет. Он ни разу не выезжал за границы России.

— Отсутствие средств?

— Возможно. Но все в России говорили только о царском запрете. Пушкин со времени окончания лицея все время находился на положении ссыльного.

— Но что касается его внешности, которая могла произвести впечатление на девичье сердце...

— Любое женское сердце непредсказуемо в своих антипатиях и тем более симпатиях. Пушкин был небольшого роста.

— Кажется, очень небольшого.

— Пожалуй, но этот недостаток смягчала его, как утверждала графиня, необычайная живость. По ее словам, он был настоящим вулканом, успевавшим поддерживать разговор чуть ли не со всей гостиной. Он оказывался одновременно везде и со всеми.

— Значит, ей досталась одна искра из целого их фонтана.

— Так вот вообрази, что больше всего поразило графиню. На этот раз Пушкин видел одну ее и говорил с ней одной. Она сознавала исключительность ситуации, хотя ничего не сделала, чтобы ее продлить.

— Нетрудно очароваться таким юным созданием.

— Несомненно. Но, не забывай, Пушкин был избалован женским вниманием и специально не гонялся за ним. Графиня утверждала, ему не давали проходу и модные

красавицы и их альбомы. Каждая почитала за особую честь увидеть на своих листах его, кстати сказать, очень-очень изящный росчерк. Здесь же все началось с его просьбы прочесть ему хотя бы несколько ее строк.

— Простая любезность?

— Вовсе нет. Стихи юной Додо были достаточно известны, печатались в журналах и чем-то обратили на себя внимание поэта. Пушкин знал ее стихи, прежде чем был ей представлен.

— Светская гостиная во время бала — не лучшее место для литературных излияний.

— Все так. Графиню необычайно стесняли эти обстоятельства, но Пушкин требовал все новых и новых стихотворений. Графиня уверяла, что перечитала за тот вечер чуть не все свои сочинения, и от того, что старалась говорить неслышно для окружающих, почти лишилась к концу голоса.

— А сам Пушкин?

— Ты знаешь, она описывала его совсем иначе, чем он представлен на известных гравюрах.

— Но ведь от африканского типа все равно было не уйти.

— Ах, того самого, который дает о себе знать и во мне и даже в тебе?

— В какой-то мере, но о Пушкине все говорили как о настоящем африканце.

— Графине таким он не показался. Она сказала, что ее больше поразил высокий лоб, широкий разлет бровей и — вообрази себе! — грустный взгляд.

— Что в этом особенного?

— Только то, что она единственная заметила это выражение грусти.

— Игра воображения.

— Да нет, похоже она угадала его характер в гораздо большей степени, чем остальные, в том числе близкие друзья и современники.

— Вы хотите сказать, отец, что он затронул ее сердце? Еще бы, такая слава!

— В этом ты ошибаешься, вокруг графини было так много знаменитостей с самого раннего ее детства, а Пушкину еще предстояло стать Пушкиным. Нет, она увидела в нем человека.

— Предчувствие судьбы? Но таким даром прозрения одаряет одна любовь.

— Для графини, во всяком случае, не имевшая никакого будущего.

— Политические осложнения в жизни жениха? Недостаток средств?

— Так или иначе, уже на балу около двух разговаривающих поэтов появляются родственники графини. Разговор и впрямь слишком затягивается, и на будущее они примут меры, чтобы он не повторился.

— Но причина? Должна же быть причина. Вы сами говорили, что, москвич по рождению, Пушкин только что вернулся в Москву после длительного отсутствия.

— Он оставил старую русскую столицу в год рождения графини.

— И, значит, стал в ней чужим человеком. Вернее, совершенно незнакомым.

— О, нет, его помнили, ждали, многочисленные родственники и друзья переживали перипетии не слишком за-

давшейся жизни с двумя следовавшими одна за другой ссылками. К тому же, его возвращение из ссылки в собственную деревню совпало с приговором по делу офицеров, выступивших против самодержавной власти императора на Сенатской площади Петербурга. Блистательные аристократы против неограниченной власти царя.

— Вы видите в этом смысл?

— Еще бы! Не забывай, слишком свежа была память о войне, где они были солдатами наравне с людьми, которые после заключения мира, после блистательной победы, всех совместно перенесенных трудностей походов возвращались в рабское состояние. Все они думали не о себе — о бесправии других.

— И могли ждать любой кары в случае неудачи.

— Могли, но жестокость Николая Первого превзошла все ожидания. Она потрясла людей. Не буду говорить о пожизненной каторге, ссылке в Сибирь, лишении дворянства и состояния, бесправии добровольно следовавших за мужьями жен, светских красавиц, никогда перед тем не испытывавших трудностей жизни. Я приведу единственный пример. Не знаю, каким он тебе покажется. Изо всех обвиненных в бунте офицеров пятеро были приговорены к повешению.

— Дворяне? В наше время?

— Именно так. Но когда у нескольких из них оборвались неудачно закрепленные петли, император велел их повесить во второй раз. Это ты понимаешь?

— Но ведь во воем мире несостоявшаяся казнь считается божьим промыслом и предполагает помилование.

— Во всех. Кроме России.

— Господь Всемогущий!

— И вот как раз в это время, когда одних казнили, других отправляли по этапу, закованными в кандалы в Сибирь, император находился в Москве и приказал привезти к себе ссыльного Пушкина.

— Чтобы наказать!

— И да, и нет. Праздновать свое возвращение в такое время было, по меньшей мере, недостойным. Кругом царили траур и слезы. Но императору этого было недостаточно. Он пожелал увидеть Пушкина и заявить ему, что отныне сам станет его цензором. Никаких чиновников: сразу и окончательно императорское решение.

— Это ужасно.

— Ты прав. Но выхода не было. Графиня уверяла, что Пушкин не отрекся от своих друзей, многие из которых ехали в это время уже в Сибирь. Минутами молодость и чувство личной свободы брали свое. Он обретал былую веселость.

В своих политических устремлениях она была куда смелее Пушкина. И это было, как могу только догадываться, ее болью, что поэт пошел на перемирие с монархом. Я скажу тебе больше. Когда незадолго до кончины графини получили возможность вернуться в столицы так называемые декабристы, их приезд не стал всенародным праздником. Напротив — он прошел совсем незаметно. Старые, отвыкшие от светской жизни, полунищие люди, окруженные плохо воспитанными детьми, они в Москве, во всяком случае, не вызвали никакого интереса. И только графиня потрудилась каждому из них вручить свое давнее послание.

— Как горькое напоминание о потерянных годах и несбывшихся мечтах. По-своему, это было даже жестоко.

— Не знаю. Но графиня не могла этого не сделать. Но как же далеко мы с тобой зашли от тех ранних лет. И так, графиня в свете. Разговор с Пушкиным состоялся. Его женитьба не удалась.

— Настало время маленькой графини.

— Ты думаешь, так легко уйти от рухнувших надежд, даже если ты сам сомневался в их целесообразности и необходимости?

— И поэт погрузился в меланхолию.

— Поэт в твоём представлении, но не Пушкин. Графиня была уверена, что он еще очень долго переживал свою потерю, но нашел лекарство для раненых чувств — стал волочиться в полной смысле слова за всеми московскими красавицами.

— Кроме графини?

— Мне кажется, он относился к ней, как к дивному цветку, который нельзя тревожить.

— Как же много пережила, но и успела вам передать о своих переживаниях, отец, ваша прекрасная графиня.

— Это так выглядит в нашем разговоре. Ты удивишься, но с Россией я познакомился раньше, чем с графиней. И виной тому стала мадам Марианна Шимановская.

— Эта знаменитая пианистка? Но каким образом?

— Самым удивительным. Мадам Шимановская спокойно жила в Варшаве, когда ее действительно превосходной игрой на фортепиано, а может стать, и ею самой увлекся отец Пушкина. Отец поэта сам грешил рифмоплетством и часто достаточно удачным, отдавая предпочтение

не издательствам, а дамским альбомам. Альбомы в первые годы после кампании 1812 года были в чрезвычайной моде, а послание к ней Пушкина-старшего — мне передавали его в переводе — было и в самом деле отмечено искрой таланта.

— Простите, отец, но на каком же языке?

— Естественно, на французском.

— А пианистка его знала?

— Не позорь меня, Александр, французский был в ту пору интернациональным европейским языком. А Пушкины вообще владели им совершенно виртуозно. Так вот, спустя, если не ошибаюсь, пятнадцать лет альбом пианистки попадает в руки Пушкина-сына. Он то ли не хочет состязаться с отцом, то ли не испытывает достаточно ярких впечатлений от встреч с начавшей стареть красавицей — а она была когда-то неотразимо хороша — и ограничивается парой строк из какого-то своего произведения и датой — это был март 1828 года, который так тяжело переживала русская аристократия.

— Профессиональная музыкантша? Разве не удивительно ее появление именно в консервативной России?

— Бога ради, оставь свои хрестоматийные представления об этой стране. Не забывай: голову самого знаменитого в Петербурге, да и всей России, памятника Петру I — Медного всадника вылепила именно женщина. Мари Анн Колло была всего лишь подмастерьем у знаменитости Севрской мануфактуры Фальконета, но самая главная часть монумента была выполнена именно ею, после стольких неудач ее учителя. Князь Нарышкин мне рассказывал, как после серьезных разногласий между императ-

рицей Екатериной Великой царица без сожаления рассталась со скульптором, но никак не хотела отпускать госпожу Колло, которую заваливала заказами.

— Но ведь, помнится, не оставила.

— В том-то и дело, что получила от художницы категорический отказ. Колло не захотела оставить своего наставника и выехала из России вместе с ним, увозя разве что всевозможные регалии и знаки почета: она ведь была избрана членом императорской русской Академии художеств. Много лет, пока Фальконет лежал в параличе, она зарабатывала ему на жизнь, а когда старика не стало, отказалась от занятий скульптурой.

— Поразительно!

— Ты находишь? А мне кажется, что те женщины, которым ты отдаешь предпочтение в своих сочинениях, по настоящему не заслуживают сочувствия и уважения. Они, как вьюнки, нуждаются в постоянной опоре и немедленно увядают, коль скоро их опора исчезает.

— Зато в любви только они способны полностью отдаться возлюбленному.

— Как отдаться? Ждать опять-таки от него все виды удовольствия, не приложив к тому никакого усилия? Впрочем, мы отошли от нашей очаровательной пианистки. Вообрази, ее семейная жизнь не удалась. Она осталась одна с сыном и двумя дочерьми на руках, к которым прибавила заботу о сестрах и братьях, повсюду ее сопровождавших.

— Но не на гастролях же!

— Именно на гастролях, во время ее бесконечных странствий по Европе. Мне довелось ее слышать в Пари-

же, Милане, Парме. Не меньший успех ей принесли гастроли в Лондоне. В России она приехала со своим семейством вскоре после Венского конгресса, устроилась, как мне говорили, в роскошном снятом ею отеле в центре Петербурга и тут же превратилась в хозяйку одного из самых модных салонов. Русский император не замедлил наградить гостью титулом «первой пианистки их величеств императриц», имея в виду вдовствующую императрицу-мать и собственную супругу. Шимановская выступала и как исполнительница, и как интереснейший композитор. Ее «Шепоты» до сих пор стоят у меня в ушах. Ими одинаково восторгались и Гете, и Шуман.

— Графиня играла?

— По всей вероятности. Как могла аристократка не музицировать! Хотя мне не довелось ее увидеть за инструментом. Она не позировала перед посторонними — ее интересовала только литература. И политика. Ты знаешь, я уверен, что именно политика с этого времени захватывает ее мысли и чувства. Жестокость нового императора в отношении участников событий на Сенатской площади поразила всех. Для многих послужила предостережением — что и требовалось доказать новому властелину, — других подтолкнула к душевному бунту. Я не отвечаю за достоинство перевода строк, которые пятнадцатилетняя девочка-подросток обращает к осужденным, но смысл говорит сам за себя:

Соотчичи мои, заступники свободы,
О вы, изгнанники за правду и закон,
Нет, вас не оскорбят проклятием народы,

Вы не услышите укор земных племен!
Хоть вам не удалось исполнить подвиг мести
И цепи рабства снять с России молодой,
Но вы страдаете для родины и чести,
И мы признания вам платим долг святой.

— Но ведь это же было по меньшей мере опасно, если бы кто-то прочел и донес о чем-то подобном!

— Доносить не было нужды. Графиня сама распространяла свое сочинение среди знакомых в надежде, что оно дойдет до ссыльных. Ее смелость ошеломляет.

— Может быть, простая неопытность?

— Глупость, иными словами. Нет, Александр, графиня и в этом возрасте отличалась умом и пренебрежением ко всякой осторожности. Она будет с редким упорством добиваться своей цели и достигнет желаемого. Ее стихи во время польского восстания 1831 года будут напечатаны в «Колоколе» Герцена в Лондоне.

* * *

Догадки о предстоящей женитьбе поэта быстро переросли в уверенность. Современница записывает: «Вчера мы обедали у Уш. (Ушаковых), а сегодня ожидаем их к себе, чем чаще я с ними вижусь, тем больше они мне нравятся! Меньшая, очень, очень хорошенькая, а старшая чрезвычайно интересуется меня, потому что, по-видимому, наш поэт, наш знаменитый Пушкин, намерен вручить ей судьбу жизни своей, ибо уже положил оружие свое у ног ее, то есть, сказать просто, влюблен в нее. Это общая молва, а глас народа — глас Божий. Еще не издавши их, я слы-

шала, что Пушкин во все пребывание свое в Москве только и занимался, что на балах, на гуляньях говорил только с нею, а когда случалось, что в собрании ее нет, то Пушкин сидит целый вечер в углу, задумавшись, и ничто уже не в силах развлечь его!..»

Для друзей дома не секрет, что альбомы обеих барышень исписаны рукой поэта. Это Екатерине Николаевне он пишет:

Когда я слышу голос твой
И речи резвые, живые, —
В очаровании горю
И содрогаюсь пред тобою,
И сердца пылкого мечтою
«Аминь, аминь, рассыпья!» — говорю.

Простое увлечение? Легкий флирт? Но в их среде это было возможно только с замужней дамой. Постоянное общение с девушкой означало только стремление к браку, иначе вред, наносимый репутации барышни, мог оказаться непоправимым. Пушкин это знает, как знает и то, что хочет создать семью. Предложение? Он делает его — и все остальное остается загадкой. Что заставляет увлеченную поэтом Екатерину Николаевну медлить с ответом? Во всяком случае, не противодействие родителей — их уважение к поэту слишком велико, чтобы пускаться в меркантильные расчеты. Да и обиход их среды не требует таких затрат, как у Софьи Федоровны Пушкиной. Их можно назвать дворянской интеллигенцией, обеспеченной, но и не претендующей на великосветский образ жизни. Ответ,

скорее всего, заключен в стихах, которые поэт посвящает предполагаемой невесте перед отъездом в Петербург.

Исследователи почти сразу отказались от всяких сомнений. Конечно, старшая. Конечно, Екатерина Николаевна Ушакова. Это к ней оказался равнодушным поэт почти сразу после своего первого неудавшегося сватовства. Оно не наделало в Москве особого шума: все разыгралось в достаточно узком кругу лиц, не заинтересованных в огласке, а сам Пушкин слишком серьезно отнесся к своему чувству, примеряя возможные перемены в своей жизни к благополучию и счастью невесты.

Софья Пушкина замужем. Пушкин продолжает ездить по балам и домам. Знакомых множество, но среди них почти сразу занимают едва ли не первенствующее место Ушаковы. Ушаковы с «Пресни», как их называли знакомые.

Отец семейства — помещик средней руки Калязинского уезда Тверской губернии. По службе — всего лишь чиновник Комиссии для строения, занимавшейся отстройкой Москвы после пожара 1812 года. Дом Ушаковых достаточно далек от центра и привычных районов столицы — на Средней Пресне, за знаменитыми Пресненскими прудами, где обычно бывали гулянья, и москвичи ездили любоваться красотой закатов. Зато обстановка дома была удивительной. Книги, ноты, разговоры о литературе. Главное — две красавицы дочери, образованные, знакомые с литературой, остроумные и располагавшие к себе естественностью и простотой общения.

Увидев на балу Екатерину Николаевну, первый раз поговорив с ней, Пушкин начинает откровенно искать ее общества. Современницы отмечают, что только присут-

ствие на балу Ушаковой-старшей способно его оживить. Если Екатерины Николаевны нет, он ждет ее, молча отсиживаясь в углу и не скрывая своей досады и нетерпения. По несколько раз в день он способен мчаться на Пресню, где, впрочем, бывала вся музыкальная Москва, завсегдатаями были и Петр Андреевич Вяземский, и князь П.И. Шаликов, и Н.Д. Иванчин-Писарев. Поэт каждый раз попадал в обстановку не просто дружелюбия — прямого обожания и восторгов. Его талант, исключительность ни у кого не вызывали сомнения. Здесь «он царствовал», по выражению одной из современниц.

В отдалении от вас
С вами буду неразлучен,
Томных уст и томных глаз
Буду памятью размучен;
Изнывая в тишине,
Не хочу я быть утешен, —
Вы ж вздохнете ль обо мне,
Если буду я повешен?

Двадцать четвертого апреля 1827 года Пушкин обращается к шефу жандармов Бенкендорфу за разрешением приехать в Петербург «по семейным обстоятельствам». Этими обстоятельствами могло быть, скорее всего, выяснение материального положения поэта. Пушкин ищет какой-то определенности. Затруднения подобного рода несомненно усугублялись и страстью к игре, которая манит Пушкина возможностью приобретения сразу и большого богатства. Разрешение на выезд в Петербург Николай I ему дает, а

Бенкендорф получает в то же время сообщение жандармского генерала Волкова, что поэт «не столько теперь занимается стихами, как карточной игрой и променял музу на муху, которая теперь из всех игр в большой моде».

Девятнадцатого мая, в день отъезда, Соболевский устраивает поэту проводы на своей даче в Петровском парке. Среди собравшихся был и Адам Мицкевич. Но Пушкин сильно запоздал. Он появился уже в сумерках, невеселый, рассеянный, и, еле закончив ужин, приказал подавать дорожную коляску. Мыслями он был далеко от друзей. Впереди была разлука с Москвой на целых полтора года.

Двадцать шестого мая Елизавета Николаевна напишет брату Ивану Николаевичу: «По приезде я нашла в Екатерине большую перемену; она ни о чем другом не говорит, как только о Пушкине и о его прославленных сочинениях. Она знает их все наизусть. Прямо совсем одурела; не знаю, откуда эта перемена». Младшая сестра кривила душой: о причине перемены она знала. И чуть-чуть ревновала. Самую малость. Переписки не было. Да в ней, вероятно, и не было сердечной необходимости. Существовали причины, по которым Пушкин задерживался в столице на Неве. Через год пребывания на берегах Невы начнется его увлечение Анной Алексеевной Олениной. И снова с единственной целью — брака.

Кто знает, насколько глубоким было уязвленное чувство поэта после неудачного сватовства к Софье Пушкиной. Было понятным: только не стать предметом насмешек, только уйти от неизбежных приятельских подтруниваний, тем более соболезнований. Выход представлялся единственным, и Пушкин им воспользовался: отъезд в Петербург. Какие бы слухи ни дошли до северной столицы, они все равно теряли свою остроту и даже убедительность.

В начале 1828 года поэт на берегах Невы и — в доме Олениных. Среди многих других. И сразу же поразившее его знакомство. Дочь Олениных он видел в доме ее родителей совсем девочкой, которая могла как-то запомниться или не запомниться вообще — поэт не слишком расположен к детям. Но здесь перед ним предстала красавица, дань очарованию которой отдавали самые модные портретисты: Соколов, Гагарин, Гау, Гампельн, Кипренский. Ей посвящают свои стихи Иван Андреевич Крылов и Козлов. Она начитанна, образованна, остроумна и, впервые увидев приехавшего в Петербург Пушкина, отзовется, что перед ней предстал «самый интересный человек своего времени».

Так ли прав Вяземский, когда пишет жене в начале мая: «С девицею Олениной я танцевал покурри и хвалил ее кокетство... Пушкин думает и хочет дать думать ей и другим, что он в нее влюблен». Что же в таком случае значили написанные в его рукописях слова «Анетта Пушкина», портретные зарисовки на рукописи «Полтавы»?

В ответ на стихи князя Вяземского появляются «Ее глаза»:

Она мила — скажу меж нами —
Придворных витязей гроза,
И можно с южными звездами
Сравнить, особенно стихами,
Ее черкесские глаза.
Она владеет ими смело,
Они горят огня живей;
Но сам признайся, то ли дело
Глаза Олениной] моей!
Какой задумчивый в них гений,
И сколько детской простоты,

И сколько томных выражений,
И сколько неги и мечты!..
Потупит их с улыбкой Леля —
В них скромных граций торжество;
Поднимет — ангел Рафаэля
Так созерцает божество.

Эти строки написаны в первые дни мая. Около девятого появляются новые:

Увы! Язык любви болтливой,
Язык и темный и простой,
Своею прозой нерадивой
Тебе докучен, ангел мой.
Но сладок уху милой девы
Честолюбивый Аполлон,
Ей милы мерные напевы,
Ей сладок рифмы гордый звон.

23-мая помечены блистательные строки «Ты и вы»:

Пустое *вы* сердечным *ты*
Она, обмолвясь, заменила
И все счастливые мечты
В душе влюбленной возбудила.
Пред ней задумчиво стою,
Свести очей с нее нет силы;
И говорю ей: как *вы* милы!
И мыслю: как *тебя* люблю!

Достаточно Олениным сменить свой зимний дом на Фонтанке на летнее обиталище — мызу Приютино в семнадцати верстах от Петербурга, как Пушкин оказывается и там. 12 июня при совершенно особых обстоятельствах рождаются строки: «Не пой, красавица, при мне». Мелодию этой песни А.С. Грибоедов привез с Кавказа и показал М.И. Глинке, у которого брала уроки прекрасная Анна Алексеевна. В обработке «Анетта Пушкина» напела ее поэту, а Пушкин через день привез написанные для нее строки. Дальше появляются «Предчувствие», «Город пышный, город бедный...», «Вы избалованы природой...» и посвящение Олениной «Полтавы».

Доказательств серьезности увлечения поэта было слишком достаточно, но Анна Алексеевна, хотя и могла решиться на прогулки с поэтом вопреки воле не благоволившей к нему матери, сама не испытывала к нему никакого серьезного чувства. Она обсуждает возможность матримониальной перспективы не с кем-нибудь — с Иваном Андреевичем Крыловым, сказав ему: «Уверена, что вы не пожелаете, чтобы я вышла за Краевского или Пушкина». «Боже избави», — сказал он. Так выглядит дневниковая запись красавицы. Понимал ли это поэт? Скорее всего нет, потому что в августе обратился к матери Анны Алексеевны с предложением и получил категорический отказ. Со временем Оленина признается своему племяннику, что «не была настолько влюблена в Пушкина, чтобы идти наперекор семье». Для семьи же поэт был вертопрахом, без положения в обществе и денег. К тому же имя Пушкина в это время связывается с «Гаврилиадой» — вещью, совер-

шенно недопустимой для глубоко религиозной Олениной-матери.

Второе сватовство оказалось таким же неудачным, как и первое, хотя Софья Федоровна, по-видимому, никогда не вспоминала поэта, да и Пушкин не искал встреч с нею. Другое дело — Анна Алексеевна. До конца жизни поэта она не выходит замуж, а обиженный Пушкин будет раз за разом вспоминать нанесенную ему рану. 12 мая 1830-го он без приглашения появляется в доме Олениных с группой лиц «в домино и масках», а в 1833 под ранее вписанным в альбом Анны Алексеевны текстом «Я вас любил, любовь еще, быть может...» делает достаточно обидную приписку: «в далеком прошлом».

И некоторые подробности всех этих обстоятельств. В «Онегине» строка: «Тут был отец ее пролаз Нулек на ножках» — имелся в виду почти карликовый рост президента императорской Академии художеств и его незаурядные службистские способности — была исключена из окончательного варианта. О «маскарадном визите» сохранилась дневниковая запись графини Дарьи Фикельмон, внучки Михаила Илларионовича Кутузова: «Вчера, 12-го, мы доставили себе удовольствие поехать в домино и масках по разным домам. Нас было восемь — маменька, Катрин, г-жа Мейендорф и я, Геккерт, Пушкин, Скарятин и Фриц. Мы побывали у английской посольши, у Лудольфов и у Олениных. Мы всюду очень позабавились, хотя маменька и Пушкин были всюду тотчас узнаны, и вернулись ужинать к нам». Январь 1830 года. И все же по-прежнему оставалось непонятным, почему красавица Анна Алексеевна никому не отдала руки и сердца.

Так складываются обстоятельства, что как раз в период матримониальных проектов поэта решается на замужество его единственная сестра Ольга Сергеевна. Как бы ни были привязаны к ней родители, положение Ольги Сергеевны в семье было сложным и тяжелым. Выбор в качестве супруга Николая Ивановича Павлищева меньше всего подсказывался сердцем. Это была единственная и едва ли не последняя реальная возможность вырваться из-под гнетущей родительской опеки, даром что жених был на пять лет моложе невесты и обучался в Благородном пансионе при Царскосельском лицее вместе с ее младшим братом до сентября 1817 года. Его интерес к литературе не отличался глубиной, а служба — какими бы то ни было значительными заслугами. Чиновник Департамента народного просвещения, он стал впоследствии управляющим канцелярией генерал-интенданта Царства Польского.

Не испытывая к Павлищеву никакой симпатии, Пушкин тем не менее выступает в поддержку сестры, поскольку замужество ее складывалось совсем не просто. Единственный сын Павлищевых Лев Николаевич рассказывает об этих обстоятельствах: «Формальное предложение отца моего, Павлищева, встретило со стороны родителей Ольги Сергеевны Пушкиной решительный отказ, несмотря на красноречие Александра Сергеевича, Василия Львовича и Жуковского. Сергей Львович замахал руками, затопал ногами и — Бог весть почему — расплакался, а Надежда Осиповна распорядилась весьма решительно: она приказала не пускать отца моего на порог. Этого мало: когда две недели спустя Надежда Осиповна увидела на бале отца, то запретила дочери с ним танцевать. Во время одной из

фигур котильона отец сделал с нею тура два. Об этом доложили Надежде Осиповне, забавлявшейся картами в соседней комнате. Та в негодовании выбежала и в присутствии общества, далеко не малочисленного, не задумалась толкнуть свою тридцатилетнюю дочь. Мать моя упала в обморок. Чаша переполнилась. Ольга Сергеевна не стерпела такой глубоко оскорбительной выходки и написала на другой же день моему отцу, что она согласна венчаться, никого не спрашивая. Это случилось во вторник 24 января 1828 года, а на следующий день, 25 числа, в среду, в час пополудни, Ольга Сергеевна тихонько вышла из дома; у ворот ее ждал мой отец, они сели в сани, помчались в церковь святой Троицы Измайловского полка и обвенчались в присутствии четырех свидетелей — друзей жениха. После венца отец отвез супругу к родителям, а сам отправился на свою холостую квартиру. Рано утром Ольга Сергеевна послала за братом своим Александром Сергеевичем, жившим особо в Демутовой гостинице. Он тотчас приехал и после трехчасовых разговоров с Надеждой Осиповной и Сергеем Львовичем послал за моим отцом. Новобрачные упали в ноги родителей и получили прощение. Однако Надежда Осиповна до самой кончины своей относилась недружелюбно к зятю. По этому случаю Александр Сергеевич сказал сестре: «Ты мне испортила моего Онегина; он должен был увезти Татьяну, а теперь... этого не сделает».

Но история с Ушаковыми была еще далека до завершения. Шестого декабря 1828 года Пушкин наконец-то оказывается в Москве. Останавливается в гостинице. Читает свою «Полтаву». Постоянно бывает у Ушаковых. Исследо-

ватели относят к 1830 году историю с ответом поэта на потерянное письмо Екатерины Николаевны:

Я вас узнал, о мой оракул,
Не по узорной пестроте
Сих неподписанных каракул,
Но по веселой остроте,
Но по приветствиям лукавым,
Но по насмешливости злой
И по упрекам... столь неправым,
И этой прелести живой.
С тоской невольной, с восхищеньем
Я перечитываю вас
И восклицаю с нетерпеньем:
Пора в Москву! В Москву сейчас!
Здесь город чопорный, унылый,
Здесь речи — лед, сердца — гранит,
Здесь нет ни ветрености милой,
Ни муз, ни Пресни, ни харит.

Письма Екатерины Николаевны к брату говорят о другом. В середине мая 1830 года она уже не сомневается, что отношения с поэтом никогда не восстановятся: «Скажу про себя, что я глупею, старею и дурнею, что еще годика четыре, и я сделаюсь спелое дополнение старым московским невестам, т.е. надеваю круглый чепчик, замасленный шлафор, разодранные башмаки и которые бы немного сваливались с пяток, нюхаю табак, браню и ругаю всех и каждого, хожу по богомольям, не пропускаю ни обедню, ни вечерню, от монахов и попов в восхищении,

играю в вист или бостон по четверти, разговору более не имею, как о крестинах, о свадьбах и похоронах, бью каждый день по щекам девок, в праздничные дни румянюсь и сурмлюсь, по вечерам читаю Четьи-Минеи или Жития святых отцов, делаю 34 манера гран-пасьянс, переносу вести из дома в дом...» Литературным даром Ушакова-старшая несомненно обладала. Но ясно одно, что письмо, вызвавшее стихотворный ответ Пушкина, явно должно было быть написано раньше, скорее всего, перед первым приездом. На этот раз для Екатерины Николаевны роковой оказалась встреча поэта с младшей ее сестрой.

В этот месяц, проведенный в Москве (всего месяц!), Пушкин находится в смятенных чувствах. Вяземский замечает в письме А.И. Тургеневу: «Он что-то во все время был не совсем по себе, не умею объяснить, ни угадать, что с ним было, но он не был в ударе. Постояннейшие его посещения были у Корсаковых и у цыганок; и в том и в другом месте я видел его редко, но видел и с теми и с другими, и все не узнавал прежнего Пушкина».

В отличие от серьезной и словно замкнувшейся в себе Екатерины Николаевны, Елизавета Ушакова веселее, общительнее, кокетливее и — равнодушнее к поэту. Его увлечение льстит ее самолюбию — не больше. Между тем поэт не расстается с ее альбомом. Из двух ее альбомов от первого сохранились отдельные листы с автографами поэта, зато во втором из ста пятидесяти страниц сто заполнены рисунками и записями поэта. Он подписывает один портретный набросок Елизаветы Николаевны, сделанный 5 октября, в надписи около другого: «Елизавета Миколавна в день Ангела Д. Жуана». И именно здесь Пушкин составляет свой «Донжуанский список» — перечень имен

женщин, которыми в своей жизни увлекался. Странная фантазия, но несомненно долженствовавшая произвести впечатление на владелицу альбома, которая, поэт это понимал, не поддавалась его мужским чарам. Об этом знали все окружающие, почему когда в 1830 году Елизавета Николаевна выйдет замуж за С.Д. Киселева, супруг не будет испытывать ревности к свидетельствам увлечения поэта и не потребует их уничтожения. Зато именно так поступит супруг Екатерины Николаевны, которая решится выйти замуж только после смерти поэта.

Вы избалованы природой!
Она пристрастна к вам была,
И наша вечная хвала
Вам кажется докучной одой.
Вы сами знаете давно,
Что вас любить немудрено,
Что нежным взором вы Армида.
Что легким станом вы Сильфида.
Что ваши алые уста,
Как гармоническая роза...
И наши рифмы, наша проза
Пред вами — шум и суета.
Но красоты воспоминанье
Нам сердце трогает тайком —
И строк небрежных начертанье
Вношу смиренно в ваш альбом.
Авось на память поневоле
Придет вам тот, кто вас певал
В те дни, как Пресненское поле
Еще забор не заграждал.

И снова разговоры в Москве о визитах к сестрам Ушаковым. Снова предположения, на этот раз по поводу младшей сестры, как бы со временем поэт ни пытался объяснить (впрочем, по словам Россет-Смирновой) желанием 2—3 раза в день проехать мимо дома Гончаровых на Большой Никитской. Смысл таких поездок, когда существовали общие знакомые, балы, праздники, Дворянское собрание, был слишком сомнительным. Но есть и еще одно обстоятельство, заставляющее задуматься над отношениями поэта с «Сильфидой»...

Брак Елизаветы Николаевны был довольно неожиданным. Жених и невеста знали друг друга достаточно давно, притом возрастная разница между ними даже в те годы представлялась существенной: семнадцать лет — срок не малый. А если еще прибавить к этому слова Пушкина, что, по словам старшей сестры, «они счастливы до гадости», то радость невесты представляется несколько преувеличенной. Впрочем, Сергей Дмитриевич Киселев — полковник лейб-гвардии Егерского полка. В прошлом. Но по гражданской службе в год смерти поэта он занимает должность московского вице-губернатора. У новобрачных приходят на свет один за другим сразу после свадьбы два сына, из которых младший, Николай Сергеевич, приобретает со временем известность как собиратель и издатель материалов по русской истории XVIII — начала XIX века. Сорока лет Елизавета Николаевна потеряет мужа. Это могло быть и простым совпадением, но Елизавета Николаевна приобретает дом почти точно напротив первой после венчания квартиры Пушкина на Арбате и именно в его стенах садится писать свои воспоминания.

Это — один из старинных московских домов (ул. Ст. Арбат, 42), который видел из окон своей квартиры Пушкин. Была это когда-то стрелецкая земля, и только в середине XVIII века домовладение от военных перешло камергеру Михаилу Алексеевичу Алексееву. Среди его часто сменявшихся владельцев были Полонские, княгиня С.А. Волконская, А.В. Шереметев, А.Ф. Кокошкин, капитанша Елена Петровна Хвощинская. Непосредственно перед Елизаветой Николаевной домом владела жена коллежского секретаря Анна Александровна Небольсина. Но даже перейдя от наследников Киселевой (она скончалась, как и ее сестра, в 1872 году) к купчихе Клавдии Усачевой, а в 1935 году под школьный детский дом 1-й ступени, в котором размещались 2 группы из 45 учащихся, дом пушкинских времен еще сохранял свой внутренний вид. Его фасад и интерьеры поддавались восстановлению. Дом был полностью перестроен с санкции начальника Московского управления по охране памятников истории и культуры, а ныне заведующего кафедрой по тому же профилю в вузе А.А. Савиным. Строение пушкинских лет превратилось в грузинский ресторан «Мизиури».

Остается добавить, что Пушкин продолжал навещать чету Киселевых и в Москве и в Петербурге. В мае 1833 года Киселев пишет Елизавете Николаевне: «Под моими окошками на Фонтанке проходят беспрерывно барки и разного рода лодки, народ копошится, как муравьи, и между ими я заметил Пушкина (при сем имени вижу, как вспыхнула Катя). Я закричал, он обрадовался, удивился и просидел у меня часа два. Много поговорили и о нем и об старинке, вспомнили кой-что и окончили тем, что я зван

в семейственный круг, где на днях буду обедать; мне веле-но поторопиться избранием дня, ибо барыня обещает на днях же другого орангутанга произвести на свет...»

А вот Елизавета Николаевна оборвала свои воспомина-ния на 1826 годе, ни словом не обмолвившись о Пуш-кине.

* * *

— На этот раз мне удастся вас вытащить из вашего кресла, отец. Моя выдумка должна прийтись вам по вкусу в полном смысле слова. Как вы посмотрите на крохотный ресторанчик на берегу Сены? Плакучие ивы, разбросав-шие ветви по воде. Почти неслышное журчание струй. Столики, отделенные друг от друга густейшей жимолос-тью. Кудахтанье кур. Крики гусей. Отлично накрахмален-ные, как вы любите, скатерти. Молодое вино. Вода из род-ника. И рыба... Впрочем, здесь вы можете положиться на мой выбор.

— Ты полагаешь, у нас уже нет денег на хороший рес-торан? Это явное преувеличение.

— Нет, я всего-навсего думаю о том глотке свежего воздуха, в котором вы себе неделями отказываете. Ну, не упрямитесь же: здесь езды всего-то около часа по отлич-ной сельской дороге, а удобство экипажа, который стоит у дверей, вы сами сможете оценить.

— Ты так настойчив, Александр, что мне остается за-подозреть, что ты соскучился по моим рассказам.

— Не стану спорить. Но мне стыдно и дальше испыты-вать ваше терпение в закрытых стенах. Ведь лето про-мелькнет так быстро!

— Ты говоришь об этом с таким сожалением. А вот моя графиня лета не любила.

— И это при том, что у нее, по вашим словам, было роскошное поместье? Что за причуда!

— Никакой. Летом она теряла возможность встреч с теми, к кому была привязана.

— А разве летом в России не существует обычая ездить друг к другу в гости?

— Мой Бог, ты просто не представляешь размаха России. То, что у них называется, например, подмосковными, может быть расположено в сотне лье от столицы, а уж поездки по диаметру — это вообще целое путешествие. Я не был в поместье Ростопчиных, но все говорили, что это настоящий Версаль.

— Но раз уж мы заговорили о графине...

— Никогда не подозревал в тебе столько хитрости, Александр.

— Отец, но мне и в самом деле хочется продолжить начатую вами нить ее жизни. Вы меня заинтриговали чувством, возникающим у нее к поэту, и тут же засыпали портретами невест, которыми он стал деятельно заниматься. Положим родственница поэта могла вызвать у графини всего лишь укол ревности, но дальше — как она переносила все остальные его похождения?

— Графиня сама признавала, что отклики петербургской матримониальной неудачи поэта сразу же дошли до Москвы. Вообрази, графиня прежде всего сочувствовала его самолюбию. Если хочешь, входила в его положение.

— Не хватало, чтобы он еще делился с ней своими неудачами. Эдакая прекрасная поверенная походов Ловеласа!

— Прежде всего, подобные откровения в свете возможны только в отношении замужних дам, да и то с большими предосторожностями, а Пушкин был человек светский. Но встречаться с Додо он на балах встречался. Всегда искал способ поговорить.

— Во время танцев это так просто.

— В том-то и дело, что он не пускался в пустую болтовню, а каждый раз требовал от нее новых стихов и не скупился на свои. Их беседы могли бы быть и очень продолжительными, если бы не родственная стража, которая не упускала их из виду.

— А прибегнуть к хитрости...

— На это графиня бы не пошла. Оставался десяток-другой фраз, но очень для нее существенных. Так Пушкин подсказал ей мысль попробовать свои возможности в прозе.

— У графини были способности?

— Во всяком случае, Пушкин о них не знал. Это был совет наугад, потому что в годы твоего детства дамская литература неожиданно начала пользоваться все возраставшей популярностью. В России, насколько я себе представляю, все началось с опытов баронессы Криденер, осмелившейся после своих достаточно рискованных любовных походов написать о них в романе «Валери». Ты не читал его?

— Перелистал.

— Вот видишь, даже ты и через столько лет, а когда еще было внове говорить о собственных — не вымышленных...

— Или почти не вымышленных чувствах.

— «Валери» так зачитали, что даже не удосужились перевести на русский язык. Да для читательниц тех лет в этом не было ни малейшей нужды.

• • •

Все началось с письма. Обыкновенного делового письма из Познани. Профессор Познанского университета историк искусства Еугениуш Ивановко среди прочих новостей сообщал, что в одной из местных частных коллекций объявился любопытный мужской портрет. Полная подпись и дата: «Писал Левицкий. 1818» — уже проверена специалистами из государственных реставрационных мастерских и не вызывает никаких сомнений в своей подлинности, как и сама манера письма в авторстве великолепного русского портретиста Дмитрия Григорьевича Левицкого.

Оставалось только радоваться открытию нового, еще неизвестного науке произведения мастера, если бы не позиция сотрудников Третьяковской галереи. Собственно заведующей отделом искусства XVIII — первой половины XIX века Эсфири Ацаркиной. Нет, она не видела самого портрета и не высказывала сомнений даже по поводу присланной его фотографии, кстати, всего лишь черно-белой. Вопрос ставился иначе: хотя портрет и существовал, его не должно было быть. Официальная биографическая канва Левицкого утверждала, что последние двадцать лет своей жизни мастер не работал. Ослабело зрение, но главное — он впал в религиозный фанатизм, побудивший его отказаться от живописи. Жизнеутверждающее искусство и обращение к церкви считались несовместимыми. Правда, документальных подтверждений не существовало, если не считать сви-

детельства девочки-подростка, якобы видевшей Левицкого ползущим на коленях от входа в храм к алтарю. Трудно представить, какая епитимья была в таком случае наложена на живописца — обстоятельства жизни Левицкого не давали для того никаких оснований. Но в данном случае все определялось принципом советского искусствознания: по каждому обстоятельству вырабатывалась официальная точка зрения, безотказно выдерживавшаяся затем редакторами, музейными работниками, исследователями. Нарушение идеологического баланса всяческого рода неожиданными открытиями могло повлечь за собой непредсказуемые последствия вольнодумства и переоценок. Художник-реалист, каким представляла его официальная история искусства, Левицкий с ростом религиозных настроений неизбежно должен был лишиться былого мастерства, как и самой способности писать.

Получивший подобный ответ из Москвы новый владелец портрета Леон Диц д'Арма находился в полной растерянности. Доказательства требовали сложных розысков в русской литературе и в русских архивах, а начинать вообще надо было с изображенного лица. Холст не нес никаких указаний на его имя. Единственное, что удалось узнать у последних представителей семьи, в собрании которой холст находился, — его принятое название: «Портрет дедушки с золотой кофейной чашкой». Больше покинувшая Прибалтику в конце второй мировой войны и переселившаяся в Западную Германию баронесса Мирбах ничего сказать не могла.

Дедушка? Но представленный на портрете мужчина совсем не был стар. Рука искусного парикмахера уложила его

густые, чуть тронутые сединой волосы в изысканно небрежную прическу, подвила по последней моде концы длинных бакенбард. Темный сюртук с расшитым воротом, два надетых один поверх другого жилета, пышный галстук с крошечным бантом говорили о внимании ко всем тонкостям парижских новшеств. Красивые тонкие руки требовали явной и постоянной заботы. Его можно было бы назвать светским щеголем, если бы не удивительное лицо.

Возраст — в наплыве начинающих тяжелеть век, залегших у висков морщин. Следы привычных раздумий в глубоких складках лба. Тень горечи, почти растерянности в мягком абрисе безвольного рта, напряженно поднятых бровей. И в неожиданном контрасте с общим налетом усталости ушедших лет — сосредоточенный, словно обращенный в себя взгляд искрящихся изумрудной прозеленью почти юношеских глаз.

Около руки мужчины, на краю выдвинутого углом вперед стола действительно стояла золотая кофейная чашка, но куда интереснее представлялись окружавшие его книги. За спиной — целая полка переплетенных в тисненую кожу русско-немецких и русско-французских словарей и на них серый, в простой бумажной обложке томик с французской надписью «Валери». Другой такой же томик с надписью «Валери I» мужчина держал в руке, и можно было даже узнать номер заложенной страницы.

Все, что касалось изданного в Париже в 1803 году двухтомного романа «Валери, или Письма Густава де Линара Эрнесту де Г.», не представляло труда выяснить. Это был едва ли не первый в Европе бестселлер, к тому же принадлежавший перу русской писательницы баронессы

Юлии Криденер, которая приобрела за него прозвище «российской мадам Сюза». Впрочем, прозвище могло быть и не слишком справедливым. Знаменитая французская романистка, мать Талейрана, писала в те же годы, а ее наиболее популярный роман «Эжен де Рофелин» появился в Париже даже пятью годами позже «Валери». Так или иначе, речь шла о романтизме, к школе которого обе писательницы принадлежали.

Успех «Валери» оказался фантастическим. Париж, а за ним и вся Европа стали носить шляпки «а ля Валери», одеваться в любимые цвета Валери, отдавать предпочтение ее духам и фасонам платьев. Хотя злые языки и готовы были обвинить русскую баронессу в особом умении делать рекламу, в баснословных тратах на рецензии во всех газетах и журналах и поддержку модных портных, роман переводился на все европейские языки, и каждый новый тираж его немедленно раскупался.

Трудно сказать почему, но исключение составила едва ли не одна Россия. Здесь перевод романа так и не появился. Общество удовлетворилось выписываемыми из Парижа книгами, а перевод, хотя и начатый, остался незавершенным. Известно, что эту работу оставил на полдороге чиновник Министерства иностранных дел Александр Александрович Стахиев. Какое-то отношение к роману мог иметь и герой портрета Д.Г. Левицкого, и уж наверняка владельцы портрета.

До баронов Мирбахов «Дедушка с золотой кофейной чашкой» принадлежал родственной им семье Беркхеймов. С 1815 года супругой барона Карла Франца фон Беркхейма, приехавшего двумя годами позже в Россию из Франции

и поступившим на русскую службу, была Жюльетта Криденер, дочь писательницы. Некоторое время портрет находился также у семьи баронов Фиттингофов, родом из которой была сама Юлия Криденер. Замкнутое кольцо семейных связей позволяло предположить, что само понятие дедушки относилось не к возрасту изображенного мужчины, а скорее к родственным отношениям с ним. В таком случае его имя становилось совершенно необходимым.

Но, может быть, путь к разгадке лежал через представленный на портрете роман? У портретистов XVIII века, а Левицкий и по возрасту, и по характеру принадлежал именно к ним, каждая деталь костюма и обстановки имела прямое отношение к рассказу об изображенном, как лишнее слово в рассказе о нем. Главное же — само появление романа и его содержание были достаточно необычными для самого рубежа наступавшего XIX столетия.

Родилась Юлия Барбара в известной семье обрусевших баронов Фиттингофов. Барон Иван Федорович, иначе Отто Герман фон Фиттингоф, был известным государственным деятелем. Под начальством фельдмаршала Ласи участвовал в походе на Персию во времена императрицы Елизаветы Петровны, отличился в военных кампаниях против Швеции и Пруссии. С 1755 года, выйдя в отставку, он поселился в Риге, которая ему обязана первым своим городским театром — барон построил и содержал театр за собственный счет — и первым клубом, не говоря о многочисленных усовершенствованиях в сельском хозяйстве на латышских землях, которые он сумел ввести. В конце 1780-х годов Екатерина II назначает его сенатором и главным директором всей медицинской науки в России — существовала и

такая должность! Но к этому времени Юлия Барбара давно успела стать самостоятельной.

В восемнадцать лет юная баронесса выходит замуж за известного русского дипломата. Барон Алексей Иванович Криденер был на двадцать лет старше красавицы-жены, успел побывать посланником России в Варшаве и Венеции. Теперь молодую чету ждала дорога в Копенгаген. Вместе с ними уезжает и личный секретарь посла, почти ровесник супруги Александр Стахийев. Баронесса получила превосходное образование, разбиралась в литературе, увлекалась философией. Секретарь мало в чем уступал Юлии Барбаре. Общие увлечения вскоре переросли в бурный роман. На словах молодая женщина готова была оставить мужа и бежать с любимым.

Но только на словах. Когда Стахийев, узнав о ее беременности, признался в своей любви послу, баронесса немедленно порвала с ним. Стахийеву оставалось уехать из Копенгагена, дав слово барону Криденеру никогда больше не встречаться с его женой. И он выполнил свое обещание.

Но простым отъездом из Дании дело для Александра Стахиева не кончилось. Разразившийся скандал получил огласку прежде всего в Министерстве иностранных дел, где у молодого человека были связи, впрочем недостаточные, чтобы продолжать карьеру. Родоначальником его семьи был отец Стахий, священник Знаменской церкви в Сарской мызе Екатерины I, иначе говоря — в будущем Царском Селе. Одну из своих дочерей отец Стахий выдал за А.И. де Брессана, камердинера будущего императора Петра III, другую — за И.О. Пуговишникова, обер-секрета-

ря Коллегии иностранных дел, доверенного сотрудника самого канцлера Бестужева-Рюмина.

Этой последней родственной связи и был обязан своей службой отец Стахиева Александр Стахиевич, к тому же удачно женившийся на родственнице могучих Демидовых Хионе Григорьевне Демидовой. После двадцатилетнего пребывания в Коллегии иностранных дел он с приходом к власти Екатерины II получает назначение в русское посольство в Швеции, а с 1755 года становится чрезвычайным посланником и полномочным министром в Константинополе, участвует удачно в устройстве крымских дел и за заключение Айнали-Кавакской конвенции получает в награду поместье с одной тысячей душ крестьян в Белоруссии. Однако к моменту разыгравшейся над сыном грозы Александр Стахиевич уже находится не у дел, ограничиваясь любезно предоставленным ему императрицей званием члена Российской Академии. Самое большее, что он может сделать для романтически настроенного Александра-младшего — предоставить средства для длительного пребывания за границей.

Сын искал возможности забыться после понесенной утраты, отец рассчитывал на целительное действие времени, которое поможет обществу забыть о его любовных похождениях. Александр Александрович и в самом деле через несколько лет возвращается на службу, но ничего по ней то ли не хочет, то ли уже и не может добиться. Единственный приобретающий известность плод его трудов в конце века — перевод с французского сочинения «Прелести детства и удовольствия материнской любви», изданного в Петербурге в 1794 году.

Между тем жизнь баронессы Юлии Барбары дает постоянную пищу для светских толков. Полная романтических приключений, она коснулась в дальнейшем биографии многих европейских знаменитостей. Молва связывала ее имя с именами академика Суарда, прославленного певца Гара и блистательного гусара де Фрежвиля. Исчезновение с его горизонта Стахиева ничем не улучшило положения Алексея Ивановича Криденера. Баронесса то оставляет мужа, то снова возвращается к нему, пока в 1802 году не становится вдовой. С единственной дочерью на руках — Жюльетта оказалась залогом того давнего копенгагенского романа.

Баронессе без малого сорок лет. Она успела заявить о себе и как писательница. В Европе вышли и принесли ей известность романы «Элиза», «Алексис», «Размышления дамы-иностранки», представляющие слишком откровенное подражание «Максимум» Ларошфуко, пасторали. Но мятущаяся натура Юлии Барбары не знает успокоенности. В своем новом романе «Валери» она делает неслыханно смелый шаг — описывает собственную жизнь, собственные вполне реальные и совсем не идеальные чувства. В определенном смысле «Валери» производит на современников такое же впечатление, как в наши дни первые романы Франсуазы Саган — слишком необычные и слишком откровенные. И темой для «Валери» она берет свое чувство к Александру Стахиеву, может быть — кто знает! — оставшееся неизжитым и по-прежнему ранящим душу.

Вернуться к прошлому? Об этом баронесса не думала. Она прекрасно понимает гибельность для любого чувства проведенных после разлуки лет, сознает и произошедшие

в ней самой перемены. После всего, что ей довелось испытать и перечувствовать, скромный чиновник Коллегии иностранных дел просто перестал быть для нее интересен. К тому же баронесса не бывает в России, а Стахийев не выезжает за русские границы. Они существуют в разных мирах, и если баронессе что-то и нужно в России, то только личная встреча с самим императором Александром I. Юлия Криденер с полным основанием может на нее рассчитывать: при русском дворе о ней уже давно рассказывают легенды.

Поездка в родную Лифляндию в 1804 году неожиданно переворачивает всю жизнь баронессы. Она обращается к религии, заинтересовывается Библейским обществом. Пророчество провидицы — поселянки Марии Кумринь, известной своими часто оправдывающимися предсказаниями, — что баронессе предназначена роль апостола для обращения людей на путь истинной веры, производит на Юлию Барбару огромное впечатление. Она начинает свои проповеди в Бадене, ездит с ними по многим городам Европы. К ней прислушиваются, ее слов ждут — так часто оправдываются и ее предсказания, особенно в части государственных отношений. Смысл же проповедей Юлии Криденер сводится к тому, что все христиане должны быть объединены в общую семью, без деления на какие бы то ни было конфессии, и что истинная церковь существовала только до III века нашей эры, когда начался ее распад, предопределенный гордыней и самоуверенностью человеческой. Юлия Криденер говорит и о том, что человечеству предстоит впереди страшная битва веры и неверия, начало которой положила французская револю-

ция. В условиях разгрома наполеоновских войск и освобождения Европы от наполеоновского ига каждое из этих слов приобретало особый смысл и находило самый живой отклик.

В июне 1815 года происходит задуманная Юлией Барбарой встреча с Александром I в Гейдельберге, куда русский император приезжает после изнурительного для него Венского конгресса, дипломатических неурядиц и бегства Наполеона с острова Эльба. Неожиданное появление баронессы — поздним вечером, в саду, в белом греческом одеянии, с венком на голове — неожиданно совпало с размышлениями Александра I над ее проповедями, о которых ему только что рассказывала одна из фрейлин двора, а предсказание Барбарой идеи Священного союза, в котором русскому императору предстоит соединить все народы в царстве веры, мира и справедливости, как нельзя лучше поддержало Александра I, отвечая его собственным намерениям и планам.

Начиная с этого времени баронесса становится постоянной собеседницей русского императора и в 1818 году приезжает в Россию. Но времена меняются. Ее появлению в Лифляндии предшествует секретное распоряжение об ограничении круга ее проповедей. Юлии Барбаре разрешается общаться только с близкими ей людьми и ни в коем случае не выходить на народ. Правда, ощущение обременительности неожиданного императорского запрета приходит несколько позже. Сначала баронессе приходится принять участие в последней и еще не написанной главе собственного жизненного романа. Она решает показать свою только что вышедшую замуж дочь ее действи-

тельному отцу, тем более что узнает о неизлечимой болезни последнего. Свидание должно состояться и так долго хранимая тайна раскрыться.

Но именно в 1818 году тяжело больной и знающий о своем скором конце Александр Александрович Стахивев обращается к своему давнему знакомому академику Д.Г. Левицкому с заказом на портрет. У Александра Александровича есть собственный сын, ставший в 1819 году прапорщиком Павловского полка, впоследствии дослужившийся до чина полковника и даже занявший сомнительно почетную должность полицмейстера в Кронштадте. Только портрет пишется не для него, а для Жюльетты Беркхейм, которая и забирает его в свой дом. Довелось ли при этом встретиться героям романа «Валери», остается неизвестным. Если такое свидание и состоялось, никаких письменных следов о себе оно не оставило. И разве недостаточно того, что современники, восхищаясь красотой Жюльетты Беркхейм, непременно говорили о ее ярких, изумрудно-зеленых глазах, делавших ее похожей на таинственную русалку. А для детей и потомков русалки великолепный портрет кисти Левицкого стал просто портретом зеленоглазого «Дедушки с золотой кофейной чашкой», той самой, которую когда-то подарила своему возлюбленному в Копенгагене Юлия-Валери. Томики же романа должны были навсегда запечатлеть на холсте ту нить, которая связала их героев в жизни.

Александра Стахивева не стало через несколько месяцев. Баронесса пережила его всего несколькими годами. После новой встречи с Александром I во время конгресса в Тропау Юлия Барбара добилась высочайшего разреше-

ния на приезд в Петербург, где она тесно сходитя с кружком мистиков и княгиней Анной Голицыной. Начавшееся греческое восстание побуждает баронессу выступить с призывом освобождения греков, что вызывает крайнее неудовольствие императора. Александр I личным письмом предлагает баронессе прекратить подобную проповедь. Криднер вынуждена вернуться в Лифляндию, в свое поместье, где вокруг нее смыкается тесное кольцо доносчиков и соглядатаев. Подозрение вызывают даже аскетические опыты, которые она над собой проводит. Резко ухудшившееся состояние здоровья вынуждает баронессу принять приглашение ставшей ее близким другом княгини Анны Голицыной и уехать в крымское голицынское имение. Но даже целительный воздух Крыма смог продлить ее жизнь всего на несколько месяцев. В 1825 году Юлии-Валери не стало. Последняя строка эпилога была дописана. Хотя...

Хотя решение загадки изображенного на портрете человека не могло служить разгадкой «формулы молчания», которая была навязана официальной историей искусств Дмитрию Левицкому. «Дедушка с золотой кофейной чашкой» лишний раз подтвердил полную жизнеспособность неувядающего даже в восемьдесят три года таланта Левицкого. Значит, «формула молчания» была вызвана к жизни не недугами и угасанием живописца, а какими-то иными обстоятельствами. И эти обстоятельства действительно существовали.

В год разрыва баронессы и Александра Стахиева и рождения Жюльетты, а именно в 1787 году, происходят события, самым непосредственным образом затронувшие

преподавательскую деятельность Левицкого и его положение в Академии художеств как руководителя класса портретной живописи. Речь шла о «потемкинских деревнях» и путешествии Екатерины Великой в Тавриду.

Потемкин, как о том свидетельствуют вновь обнаруженные документы, готовит поездку императрицы как великолепное, ослепительное, но тщательно скрывавшее действительность театральное зрелище. Несмотря на существовавшее запрещение использовать учеников Императорской Академии художеств для каких бы то ни было заказных работ, сотни молодых художников втайне привлекаются к написанию всяческого рода панно, декораций, бутафории, которые на расстоянии должны были создавать для императорского кортежа видимость освоенного и процветающего края. Большинство преподавателей Академии предпочли промолчать, Левицкий, не согласившийся с действиями президента Академии, сразу по возвращении императрицы из путешествия подает заявление об отставке.

Он и дальше во многом поступает наперекор официальной политике. Не порывает с посаженным в крепость Н.И. Новиковым, поддерживает и самого просветителя, и его оставшуюся в крайне стесненных материальных обстоятельствах семью. Среда, в которой продолжал вращаться художник, была средой так называемых «мартинистов» из числа тех, которые сохраняли верность идеям просветительства. Их неортодоксальное истолкование религиозных догматов было обращено на утверждение независимости и самоценности человеческой личности. Левицкий тем самым становился «подозрительным» художником — о котором не следовало писать, которому не следовало оказывать

никакой поддержки, которого лучше всего было просто забыть. Сколько поколений мог долететь над памятью мастера подобный запрет? В России — сколько угодно. Если бы не неожиданно всплывающие материальные свидетельства и среди них обнаруженный в Познани портрет «Дедушки с золотой кофейной чашкой».

В гостиной на Чистых Прудах оживление.

— Слышали новость?

— О Пушкине? И вы в нее верите?

— Очередной пассаж сумасбродного поэта!

— Очередной — несомненно. Но пассаж ли или судьба?

— Полноте, какая судьба! Шестнадцатилетняя девочка, да еще из клана Гончаровых!

— Что вы под этим подразумеваете?

— Как, что? Буржуа, едва успевшие вступить на паркет великосветских гостиных. Вам мало?

— Да, о происхождении говорить не приходится. Всякие там фабрики, заводы...

— И это бы отвечало времени, но полуразоренные, совершенно неумело устроенные.

— Так прелестная девица не слишком богата? Впрочем, мне об этом уже говорили.

— Не слишком! Бесприданница да еще в окружении таких же сестер на выданье, мамыши...

— Слишком часто не отказывающей себе в лишней рюмке.

— И отца, который в силу той же слабости, вообще не показывается в Москве. Он сидит в гончаровском поместье, чтобы не доставлять семейству лишних расходов.

— И осложнений.

— Господа, господа, но согласитесь, предполагаемая невеста очаровательна.

— Как и слишком многие в ее возрасте. Добавьте только к этому существенное преимущество: с ней не о чем и незачем говорить — только любоваться.

— Она так неумна?

— Помилуйте, откуда мне знать?

— Кажется, она еще ни с кем не успела словом перекинуться — только что стала выезжать.

— Все просто. Она достаточно застенчива, неловка, а главное ее достоинство — она решительно не интересуется литературой и уж во всяком случае Пушкиным.

К насмешливому тону разговоров братьев и их приятелей Додо привыкла. Но кого они так настойчиво обсуждают на этот раз? И почему мелькнуло имя Пушкина?

— Додо, наконец-то! Ты так долго не появлялась.

— Прошу прощения: хозяйственные распоряжения. Ведь будет ужин.

— А мы здесь сплетничаем.

— Это так необычно?

— Конечно, необычно — по теме. Ты ведь расположена к нашему вечному жениху.

— Вечному жениху? Что за выражение!

— Самое естественное. Сколько раз наш Пушкин получал отказ?

— Похоже, что четыре.

— Господа, вы же ничего не знаете наверняка. Зачем же говорить пустое. И это нелепое прозвище.

— Додо, Пушкин просто не знает, какого имеет в тебе адвоката! Ему следует прибегать к твоей помощи почаще.

— А на этот раз в чем дело?

— Так ты не знаешь предмета нашей болтовни?

— Конечно, нет.

— Как это похоже на тебя, сестра, не знать самых горячих московских новостей.

— И все же, о чем речь?

— Не о чем, а о ком. О Натали Гончаровой, на которую наш восторженный поэт положил на этот раз свой глаз.

— Но мне это имя решительно ничего не говорит.

— Это девочка из той многодетной семьи полуразорившихся заводчиков.

— Или просто разорившихся Гончаровых. Наш Пушкин в поисках новых лирических впечатлений заглянул на Тверской бульвар к Иогелю.

— К нашему? У которого мы учились?

— Именно к нему. И увидел это прелестное создание.

— На днях?

— Где там! Еще в декабре.

— Или, во всяком случае, до Нового года.

— И?..

— И на первых порах решительно ничего. Князь Вяземский сказывал, что именно в это время он заприметил перемену в поэте. Он стал более задумчивым, рассеянным, словно он решал и не мог решить какой-то вопрос. Зато теперь все прояснилось, через Толстого-«американца» он сделал предложение матери девицы.

— Так толком с нею и не познакомившись?

— А, собственно, зачем? Предложение и так не было принято. Мадам Гончарова отнеслась к соискателю куда как холодно. Она даже не оставила ему никаких перспектив на будущее.

— Дмитрий, дорогой мой, ее симпатии или антипатии не будут здесь играть никакой роли. За невестой ничего не числится, она бедна как церковная мышь, а таких в Москве сбывать с рук совсем не просто.

— Твоя правда. Если не подвернется более состоятельный и солидный соискатель. Пока злые языки приписывают очаровательнице единственного абсолютно нищего студента, которого мамаша велит принимать «для компании», иначе вокруг будущей невесты будет одна пустота.

Нет, нет, сердце подсказывает, в этой новости есть что-то большее, чем простая светская сплетня. Больше... Знакомство у Иогеля... Среди подростков... Какая-то нелепость. И потом сразу после Нового года Пушкин уехал из Москвы... По меньшей мере на три месяца.

Он вернулся в начале мая. Никто, помнится, не говорил, где он поселился. Не у приятелей. Скорее всего, в гостинице. Повсюду толковал о своем желании ехать на Кавказ. Его отговаривали, он то ли размышлял, то ли упрямился. Ему напоминали о судьбе Грибоедова. Казалось, она не производила на него впечатления.

Его новая поэма «Полтава» в Москве впечатления не произвела. Но рукописи ее он дарил Баратынскому. И Екатерине Ушаковой. Ей первой... Первого апреля он пишет чудесные строки в альбом Екатерине. Чудесные... «Трудясь над образом прелестной Ушаковой». И разговор о Гончаровой. Может быть, все-таки очередное мимолетное видение?..

* * *

— Ты слышала, Додо, Пушкин уехал первого мая и оставил единственное письмо. Прощальное и благодарственное — Наталье Ивановне Гончаровой.

— Но почему?

— Она сохранила в его сердце надежду.

...Ждать его возвращения. Не ждать — она просто не могла. Это было настоящее безумство: он выехал на Кавказ, не получив обязательного для него разрешения III Отделения. Как совершенно свободный и независимый человек. Чего он искал в этой поездке?

Целое лето без достоверных вестей. Окольными путями можно было что-то узнать о Гончаровых. Но они не ждали Пушкина и откровенно надеялись на чудо — иного соискателя. Наталья Ивановна без смысла спускала те немногие деньги, которыми располагала. Знакомые, бывавшие в ее доме накоротке, рассказывали о полнейшем беспорядке, неприбранных комнатах, неопрятной прислуге, барышнях, которых можно было застать в утреннем неглиже даже в предобеденное время, потому что прислуга не успевала с утра подать кофе. Книг там не водилось. Никто их не читал. О Пушкине-поэте не вспоминал никто.

Додо помнила этот день: 20 сентября. Пушкин в Москве. Под полицейским надзором, конечно, секретным, о котором также во всех подробностях знала Москва. Удивительно, если бы было иначе. В гостинице «Англия», у Тверской.

И один из первых визитов — к Гончаровым. Со стороны матери — холодный, со стороны Натальи Николаевны — равнодушный. Она не скрывает от приятельниц, что на ее вкус Пушкин стар (и старым выглядит). Уж очень некрасив и совсем не светский человек. Два танца с ним Наталья Николаевна даже не хочет вспоминать: неловкий

коротышка, наступивший ей на край платья! И надоедавший чтением стихов. Она так и не поняла, чем они разнились от того множества рифмованных строк, которым ее осыпали студенты.

На следующий день по приезду Пушкин, конечно же, у Ушаковых. Как же здесь все представлялось серьезным! Он дарит Екатерине Николаевне книгу «Стихотворения Александра Пушкина», первый, только что вышедший в Петербурге том с дарственной надписью, а спустя несколько дней пишет стихи в альбом младшей сестры. Чему было верить! Чему?

На балу в разговоре с Пушкиным Додо не удержится: как счастливы сестры Ушаковы таким множеством пушкинских стихов в своих альбомах! Он искренне удивится: неужели можно себе представить альбом светской барышни в ваших руках, руках подлинного поэта? Я бы никогда не решился обидеть вас подобным отношением к поэзии.

Он приедет с визитом на Чистые Пруды, вспомнит свое детство, как ходил со своим дядькой играть на берег пруда, где лежали доски местного лесного торговца. Как остро пахло смолой, сыростью и как то тут, то там поквасивали лягушки: я ведь намного старше вас, Авдотья Петровна. И как они взбирались на колокольню Меншиковой башни, а вернее, как поднимал его туда на руках дядька, чтобы поглядеть на Москву.

Пушкин был в меланхолии, и она даже удивилась, как можно в таком настроении обрекать себя на визиты. Он, по-видимому, думал иначе. Читал «Дорожные жалобы», «Долго ль мне гулять на свете, то в коляске, то верхом...», строфы из «Путешествия Онегина».

Случайно в доме было пусто. Никто из близких не участвовал в разговоре. От предложенного нянюшкой чая Пушкин почти досадливо отказался: жаль времени. И требовал ее стихов.

Один раз они встретились взглядом. В его глазах была отрешенность, почти отчаяние. Почему? Неудачное сватовство? Об этом она меньше всего думала. В нем было что-то от загнанного человека, отчаявшегося, переставшего на что бы то ни было надеяться. Любовь — ей ли этого не знать! — такого состояния не рождает. Даже неразделенная. А он не был влюблен. У нее не было времени додумать свою мысль. Пушкин неожиданно поднялся и сказал, что желает ей, как никому другому, чистого счастья. В поэзии. Потому что в жизни его не бывает.

Слезы застили ей глаза, когда она смотрела из-за угла занавески на его отъезжавший экипаж.



РОКОВОЙ ДОЛГ

Ошибка вкралась в написание фамилии. Составитель справочника «Пушкин и его окружение» спутал стоявший на конце слова твердый знак с мягким. Появившийся в результате Огонь-Догановский превратился в молочного брата поручика Кижэ. Подобной фамилии в природе не существовало, и это было тем важнее, что речь шла о прообразе одного из действующих лиц «Пиковой дамы» — Чекалинского.

Пушкинские строки: «Долговременная опытность заслужила ему доверенность товарищей, а открытый дом, славный повар, ласковость и веселость приобрели уважение публики... Он был человек лет шестидесяти, самой почтенной наружности». Поэт имел в виду потомка польского шляхетского рода Огон-Догановского, перешедшего на русскую службу после взятия Смоленска при царе Алексее Михайловиче.

В отличие от своих далеких предков, первый из которых был пожалован в стольники, современник Пушкина государственной службе предпочитал спокойную жизнь помещика Серпуховского уезда Московской губернии. Вместе с супругой, урожденной Екатериной Николаевной Потемкиной, они держали в Москве открытый дом. Их особняк и сегодня производит впечатление своими размерами и великолепием. Застроенный многоэтажным доходным домом на углу Большой Дмитровки и Камергерского переулка (№ 9), он относится к числу лучших памятников московской архитектуры конца XVIII века, но

упоминается обычно в связи с именем Л.Н. Толстого. В нем находилась первая семейная московская квартира писателя после свадьбы, здесь он работал над «Семейным счастьем».

Для Пушкина все сложилось иначе. За карточным столом у Василия Семеновича Огон-Догановского поэт проигрывает, уже после официальной помолвки с Н.Н. Гончаровой, огромную для него сумму в 25 тысяч рублей. Иначе и не могло быть. Хозяин дома был профессиональным игроком, и хотя никто никогда не обвинял его впрямую в мошенничестве, зеленый стол составлял основной и неисчерпаемый источник его доходов. Василий Семенович никогда не бывал в проигрыше, тем более что располагал целым штатом помощников. Расплатиться Пушкин был, само собой разумеется, не в состоянии. На часть долга ему пришлось подписать вексель:

«Тысяча восемь сот тридцатого года июля в 3-й день я, нижеподписавшийся 10-го класса Александр Сергеев сын Пушкин, занял у полковника Луки Ильина сына Жемчужникова денег государственными ассигнациями двенадцать тысяч пятьсот рублей, за указанные проценты сроком впредь на два года, то есть: будущего тысяча восемь сот тридцать второго года июня по вышеписанное число, на которое должен всю ту сумму сполна заплатить, а буде чего не заплачу, то волен будет он, господин Жемчужников, просить о взыскании и поступлении по законам. К сему заемному письму 10-го класса Александр Сергеев сын Пушкин руку приложил. № 1196-й. 1830 года Июля третьего дня сие заемное письмо к определению в Москве публичному Нотариусу явлено и в

книгу под номером тысячу сто девяносто шестым записано — Нотариус Ратьков».

Отставной полковник Жемчужников был компаньоном «почтенного Чекалинского». Дальше Пушкину оставалось ехать к отцу для выяснения своего и без того нелегкого материального положения.

Респектабельный хозяин дома — и не менее респектабельный его компаньон. Л.И. Жемчужников как нельзя лучше вписался в высший московский свет. Гвардейский полковник, помещик Боровского и Медынского уездов, член Петербургского Английского собрания, женатый на красавице неаполитанке графине де Морелли, титул и происхождение которой, впрочем, вызывали у современников серьезные сомнения. Играл Жемчужников ежедневно и из игры черпал средства для жизни и обогащения. Поэт же был за зеленым сукном всего лишь любителем — азартным и неумелым. Так или иначе, долг существовал и доставлял немало неприятностей. Уже после свадьбы Пушкин вынужден приехать специально для его урегулирования в Москву. С мая 1831 года он жил с женой в Петербурге, надеясь на благополучную оплату долга при посредстве московских друзей. Седьмого октября Пушкин напишет П.В. Нащокину: «Прошу тебя в последний раз войти с ними в сношение и предложить им твои готовые 15 т., а остальные 5 я заплачу в течение 3 месяцев». Через три недели возможность личного объяснения с кредиторами появится у самого поэта: «Видел я Жемчужникова. Они согласились взять с меня 5000 векселем, а 15 000 получить тотчас. Как же мы сие сделаем? Не приехать ли

мне самому в Москву?» В результате 6—22 декабря 1831 года Пушкин проводит в Москве.

И все равно расплатиться в оговоренный срок Пушкин не смог. Росла семья, росли расходы. К старым долгам неумолимо прибавлялись все новые и новые. Жемчужниковский вексель продолжал тяготеть над Пушкиным до последнего дня жизни. Его погасила только опека 11 мая 1837 года, когда сумма векселя с указанными процентами достигла 6389 рублей. В.С. Огон-Догановского не стало ровно через год — в мае 1838-го.

Л.И. Жемчужников пережил своего компаньона почти на двадцать лет. Любопытно, что оказалось возможным установить, куда пошли проигранные Пушкиным деньги. Отставной полковник стал совладельцем сельца Ховрино. Другая часть принадлежала Столыпинам, семейству двоюродной бабки М.Ю. Лермонтова — Натальи Алексеевны, вышедшей замуж за своего дальнего родственника и однофамильца пензенского губернского предводителя дворянства. Между совладельцами делились 22 ховринских двора, в которых проживало 82 мужика и 71 баба. Л.И. Жемчужников оказался рачительным хозяином. Он подновил старый боярский дом с флигелями, отремонтировал церковь, почистил раскинутый на холмах сад с мостиками и гротами.

Но долго пользоваться Ховрином Жемчужниковым не пришлось. В 1854 году умер единственный сын, 24-летний гвардейский поручик. Годом позже не стало жены игрока, а в 1856 году к их могилам на Смоленском кладбище Петербурга присоединилось погребение и самого пушкинского кредитора — последняя точка в истории рокового долга.

— Додо, у меня для тебя прелюбопытнейшая новость!

— Ты так возбужден, братец.

— Послушай, Пушкин, наконец-то, женится. И похоже, это уже окончательно.

— Откуда такая уверенность?

— Чего ты хочешь, вчера он сделал вторичное предложение Натали Гончаровой и, вообрази, получил милостивое согласие. Первый раз за свою затянувшуюся брачную эпопею.

— Согласие?

— Не только. На шестое мая назначена торжественная помолвка. Почтеннейшая Наталья Ивановна уразумела, наконец, что принц в бриллиантовой карете за ее дочерью не приедет, а бедный верный студент давно стал смешон. Надо принимать жизнь как она есть.

...Такое известие трудно забыть, но впечатление от него постепенно начало бледнеть. Свадьба по каким-то непонятным причинам откладывалась. Говорили, что у невесты нет приданого и будущая теща любым образом хочет его получить с зятя, как то делается в купеческом кругу. Правда, помолвленные стали появляться в сопровождении все той же неизменной Натальи Ивановны в Благородном собрании — в тот раз Додо удалось только издали увидеть странную пару: жених едва ли не на полголовы ниже очень высокой и очень красивой невесты. Усмешек и перешептываний было, само собой разумеется, не избежать.

Пушкин повез «свое семейство», как их тут же стали называть неугомонные москвичи, в Нескучный сад, любо-

ваться воздушным театром. Говорили, что репетировавшие актеры тут же бросили свои занятия, чтобы насмотреться на знаменитую пару. Куда удивительней было то, что вечно аффектированная и легко переходившая на плаксивый тон Наталья Ивановна также легко заставляла Пушкина выполнять свои богомольные прихоти, бесконечно ездя по соборам.

«Все семейство» побывало и у Иверской, что заставило многих вспомнить недавние приготовления семейства Лопухиных к переезду в Петербург на официальную должность их дочери как фаворитки императора Павла.

Конечно, они встречались в обществе не часто. Сама Додо избегала подобных встреч, трудно справляясь с накипавшей в душе горечью. Один раз в ее присутствии Пушкин словно бы нарочно сказал о своей поездке в Захарово, сельцо под Большими Вяземами, когда-то принадлежавшее его покойной бабушке. Там прошло его детство, по его словам, лучшая и счастливейшая часть жизни. Он нашел усадьбу перестроенной, многое разрушенным, бывших приятелей детских игр из числа крестьянских детей безнадежно постаревшими и изменившимися. И несколько раз повторил слова бывших девчонок: «Какой же ты, батюшка, Александр Сергеевич, стал нехороший!» Это горькое признание давало ему, по всей вероятности, отклик на мучившие его мысли. Он несколько раз возвращался и к тому, что даже родная мать не могла понять его желания последний раз перед женитьбой проститься с детством.

Проститься!.. Какое страшное слово. Но что его могло толкнуть в то время, когда жизнь, казалось бы, могла наладиться по его мысли, к самому страшному поступку —

огромному даже для очень богатых людей карточному долгу.

Господи! Ему же нельзя было играть! Нельзя! А он...

Известие было не из приятных. Письмо, которое счастливый жених написал родителям, оказалось подаренным Надеждой Осиповной ее приятельнице княгине Александре Ивановне Васильчиковой 3 мая 1830 года.

В эти же дни поэт доверится В.Ф. Вяземской: «Первая любовь всегда есть дело чувства. Вторая — дело сладострастия, — видите ли! Моя женитьба на Натали (которая, в скобках, моя сто тринадцатая любовь) решена. Отец мне дает двести душ, которые я закладываю в ломбарде». Накануне Петру Андреевичу Вяземскому были адресованы строки: «Сказывал ты Катерине Андреевне [Карамзиной] о моей помолвке? Я уверен в ее участии — но передай мне ее слова — они нужны моему сердцу, и теперь не совсем щастливому».

Такими откровениями с родителями поэт делиться бы не стал. И все же он готов отдать несколько своих автографов за злополучное письмо. Готов, но получает решительный отказ. Письмо остается у Александры Ивановны, с которой он связан добрыми отношениями долгие годы.

Собственно, дело не в княгине Васильчиковой, а в семействе Архаровых, из которого она родом. И разве не доказательство дружеской близости — присылка именно княгине 4 ноября 1836 года одного из анонимных пасквилей, адресованных поэту. Есть и другое обстоятельство, связывавшее Васильчиковых с Пушкиным, — жизнь Гоголя

в их доме. На этой почве завязываются добрые отношения поэта и писателя.

Пушкин впервые узнает о Гоголе из письма П.А. Плетнева в конце февраля 1831 года, но за недосугом едва ли не до конца апреля не берется за чтение его сочинений. Личное знакомство в мае у того же Плетнева оказывается мимолетным. Зато с июня Пушкин с молодой женой устраивается в Царском Селе, Гоголь в Павловске — у Васильчиковых. «Все лето я прожил в Павловске и Царском Селе, — пишет Николай Васильевич А.С. Данилевскому. — Почти каждый вечер собирались мы — Жуковский, Пушкин и я. О, если бы ты знал, сколько прелестей вышло из-под пера этих мужей». Гоголь не упоминает только о своем положении в доме, которое если несколько и скрашивалось, то лишь благодаря тактичности жившей с дочерью «старой Архаровой» и самой княгини.

«У тетки Васильчиковой было пятеро детей, — вспоминал впоследствии В.А. Сологуб. — Один из сыновей родился с поврежденным при рождении черепом, так что умственные его способности остались навсегда в тумане. К этому-то сыну, в виде не то наставника, не то дядьки, и был приглашен Гоголь для того, чтобы по мере возможности стараться хоть немного развить это бедное существо... На балконе, в тени, сидел на соломенном низком стуле Гоголь, у него на коленях полулежал Вася, тупо глядя на большую, развернутую на столе книгу; Гоголь указывал своим длинным, худым пальцем на картинки, нарисованные в книге, и терпеливо раз двадцать повторял следую-

щее: “Вот это, Васенька, барашек — бе-е-е, а вот это коро-ва — му-у-му-у, а вот это собачка — гау-ау-ау...” При этом учитель с каким-то особым оригинальным наслаждением упражнялся в звукоподражаниях. Признаюсь, мне грустно было глядеть на подобную сцену, на такую жалкую долю человека, принужденного из-за куска хлеба согласиться на подобное занятие».

И это на следующий день после того, как «старая Архарова» отправила внука послушать чтение Гоголя. Сами хозяйки интереса к литературе не проявляли. У стола с тремя вяжущими на спицах старухами Сологуб впервые услышал гоголевские строки: «Знаете ли вы украинскую ночь?..»

Несмотря на, казалось бы, тяжелые воспоминания, Гоголь постоянный гость Васильчиковых. Продолжает посещать княгиню и Пушкин. Это о ее московском доме на Большой Никитской (№ 46) сказано у А.Ф. Писемского: «...у Васильчиковых по средам большие вечера». Здесь появляются М.С. Щепкин, Ф.И. Тютчев, Т.Н. Грановский, С.М. Соловьев, И.К. Айвазовский, не говоря о родном племяннике хозяйки — В.А. Сологубе.

Но для Пушкина не менее важны многочисленные родственники и свойственники Архаровых. Мать Владимира Александровича Сологуба Софья Ивановна с мужем, которого Пушкин упоминает в первом варианте I главы «Евгения Онегина», их второй сын — Лев, связанный с окружением барона Геккерна, и племянница Софьи Ивановны по мужу — Надежда Львовна Сологуб, горькое и, по всей вероятности, встреченное взаимностью увлечение поэта:

Нет, нет, не должен я, не смею, не могу
Волнениям любви безумно предаваться;
Спокойствие мое я строго берегу
И сердцу не даю пылать и забываться...

Когда попытки противостоят пылкому влечению поэта оказались тщетными, родственники девушки прибегли к крайнему решению. В июле 1836 года Софья Ивановна увезла племянницу за границу, откуда Надежда Львовна вернулась только после гибели Пушкина, и притом женой декабриста А.Н. Свистунова.

Дому на Большой Никитской оставалось хранить еще одну страницу жизни поэта.

* * *

Дюма-сын был не в духе. На берегу реки давала о себе знать старая хворь. Ноги болели все сильнее.

— Наша итальянская встреча на этот раз явно подходила к концу. Нетерпеливый к новым впечатлениям, а главным образом к торговцам стариной, граф не скрывал планов дальнейшего путешествия. Сопровождать супругов мне было неловко, да и выдуманная мною необходимость впечатлений для якобы задуманного романа в глазах всех окружающих была удовлетворена.

На этот раз графиня выразила желание совершить прогулку верхом. Она была хорошей наездницей, к тому же ей понравились лошади, которых держал хозяин трактира для желающих. Меня подобная перспектива совсем не радовала, но и лишиться возможности поговорить наедине с графиней я не мог. Пришлось превозмочь и вес, и возраст.

— И стать похожим на графа.

— В том-то и дело, что граф Андрей много раньше меня разлюбил подобный вид развлечений. Он охотно передоверял мне попечение над женой, а сам пускался в путешествие по старьевщикам. Около него вечно крутились какие-то сомнительные итальянские типы с предложениями о посредничестве. Так случилось, что вместе с нами в путь направилась лишь одна пара, явно слишком занятая друг другом, чтобы обращать на нас внимание. Графиня, видимо, испытывая неловкость, заметила, что время необъяснимо меняет людей и что граф еще совсем недавно не упустил бы ни одной возможности конной прогулки. И тут я первый раз услышал, что граф на несколько лет моложе супруги. Признаюсь, я не удержался, чтобы не удовлетворить любопытства, почему графиня согласилась на подобную разницу в годах. Оказывается, ей в момент свадьбы не исполнилось и двадцати трех, тогда как графу всего девятнадцать.

Я перевел все в шутку: «Вы не могли устоять перед очарованием юности: «Зефир и Хлоя». Неожиданно для меня графиня придержала лошадь и ответила очень серьезно: «Если и был Зефир, то Хлоя, чтобы оценить его прелести, отсутствовала».

Я откровенно смешался и допустил прямую бестактность, спросив, что же в таком случае могло вовлечь в этот брак одну из первых красавиц Москвы. «Он был восторженным поклонником моих сочинений, — как-то слишком спокойно ответила графиня. — И большинство из них знал наизусть». — «И этого было достаточно?» — я не верил своим ушам. Ведь ее хвалил сам Пушкин! И толь-

ко тут я вспомнил, что русские называли графиню певцом неразделенной любви.

«Прибавьте к этому великолепную образованность милого юноши и непререкаемую настойчивость всей родни. Родных устраивало все: и титул, и огромное богатство, и даже то, что граф Андрей давно лишился отца, что давало ему свободу в семейных делах». — «К тому же такая знаменитая фамилия», — добавил я. «А вот тут вы ошибаетесь, — остановила меня графиня. — Вы, естественно, думаете о кампании 1812 года, но в России отношение к покойному моему тестю очень разное. В рассказах о нем все спуталось. Для одних он был поджигателем Москвы, ради чего выпускал направленные против наполеоновских войск листовки, для других — тем, кто расстреливал поджигателей по одному подозрению, не зная ни суда, ни снисхождения. Верно лишь то — а уж тут судите как хотите, — что собственность подмосковную, как и московские дома, он сумел сохранить в целостности и неприкосновенности». И конец жизни провести в Париже.

В жизни Пушкина появляется Натали Гончарова. Любящим сердцем Евдокия Петровна угадывает, насколько нелегка будет дальнейшая судьба поэта. Может быть, она лучше других понимает характеры и душевные особенности участников будущей драмы. Никого не обвиняет, всем только сочувствует. Ее выдержке и такту могут позавидовать умудренные жизненным опытом люди. У Евдокии Петровны нет опыта — есть чувство.

31 марта 1831 года она видится с супругами Пушкиными — они вместе участвуют в санном масляничном ка-

танье и блинах, которые устраивает ее близкий родственник С.И. Пашков, женатый на княжне Надежде Сергеевне Долгоруковой, ровеснице поэтессы.

Это все молодые пары. Недавно поженившиеся. И очень счастливые. Свадьба Пашковых состоялась в 1830 году. Брат княжны А.С. Долгоруков, участвующий в том же катанье, обвенчался со своей женой, Ольгой Александровной Булгаковой, всего два месяца назад, и Пушкину довелось танцевать на первом балу молодоженов. Это Ольга Александровна поразила Пушкина своим замечанием, когда он заявил о своем желании ехать в Персию: «Байрон поехал в Грецию и там умер; не ездите в Персию, довольно вам и одного сходства с Байроном». Молодая княгиня Долгорукова не скрывала, что Пушкин был ее любимым поэтом.

Но именно потому, что она находится в среде поклонников и друзей поэта, Евдокия Петровна не может не знать больно ранящих ее подробностей его жизни. Того, как много проиграл Пушкин в Москве записным игрокам и как не сумел расплатиться с чудовищным для него долгом. Того, что ему пришлось заложить свою деревеньку и полученные деньги почти полностью раздать за долги и за приданое своей невесты. Теща откровенно заявила соискателю руки прекрасной Натали, что средствами не располагает, а без приличного приданого выдать дочь замуж ни за что не согласится. Даже в день венчания она готова была отложить обряд, требуя с Пушкина все новых и новых сумм. В результате поэту оказалось не на что сшить себе к свадьбе фрак. Пришлось надеть фрак Нащокина, в котором, по утверждению друзей, Пушкина позже положили и в гроб.

Потом была еще необходимость иметь дело с ростовщиками. Один заем у пользовавшегося дурной славой Никиты Андреевича Вейера, который жил у Никитских ворот, в бывшем доме А.В. Суворова, Пушкин взял непосредственно перед свадьбой. Второй — сразу после венчания, под залог бриллиантов Натали.

И множество дурных примет, сопровождавших самый обряд венчания в церкви Большого Вознесения, через проулок от усадьбы Н.А. Вейера. Друзья шепотом передавали друг другу, как упали случайно задетые Пушкиным крест и Евангелие с аналая, как при обмене колец одно из них скатилось на пол, и в довершение всех бед у жениха погасла свеча. «Одни дурные предзнаменования», — заметил побледневший поэт.

Разговор об этом как-то происходил и в присутствии Евдокии Петровны, и Пушкин был искренне удивлен безмятежным выражением ее лица.. Эпизод этот, однако, — лишь новое свидетельство того, как умела молодая женщина владеть собой. «...Сердце у меня сжималось в это мгновение от боли», — признавалась сама Ростопчина.

«Ее чувства были не по нашим меркам», — замечает ее брат С.П. Сушков.

Но наступает время перемен и для самой поэтессы. Биографы склоняются к тому, что не Евдокия Петровна, а заботливые родственники находят для нее блестящую партию.

Сын бывшего московского генерал-губернатора Ф.В. Ростопчина, деятельного участника событий 1812 года в Москве, граф Андрей давно освободился от отцовской опеки: генерал-губернатора не стало в 1826 году. Правда, Андрею Федоровичу всего 19 лет, и он моложе своей не-

весты. Зато граф богат, знатен и очень хорош собой. Впрочем, согласие невесты последовало скорее всего из-за литературных увлечений жениха.

Со временем А.Ф. Ростопчин станет известным библиографом, книжным знатоком и даже почетным членом Петербургской Публичной библиотеки. Он занимается литературой и относится к числу поклонников поэтического таланта своей будущей жены.

28 мая 1833 года в Москве появляется поэтесса Евдокия Ростопчина. Под этим именем Додо Сушкова и войдет в историю нашей литературы. Закончился этап ее биографии, который она так охарактеризовала в своем стихотворении «Три поры жизни»:

Была пора: во мне тревожное волнение,
Как перед пламенем в вулкане гул глухой,
Кипело день и ночь; я вся была в стремленье...
Я вторила судьбе улыбкой и слезой.
Удел таинственный мне что-то предвещало;
Я волю замыслам, простор мечтам звала...
Я все высокое душою понимала,
Всему прекрасному платила дань любви, —
Жила я сердцем в оны дни!

Новую страницу своей жизни Евдокия Ростопчина назовет порой тщеславия. Светские успехи словно должны отвлечь ее от мыслей и чувств, у которых нет будущего. «Я вдохновенья луч тушила без пощады для света бальных свеч, я женщиной была», — скажет поэтесса о себе.

Но в канун этих оказавшихся нелегкими для нее лет, весной 1832 года, Ростопчина напишет своего рода эпитафию Пушкину — стихотворение «Отринутому поэту». Карточный долг продолжал существовать и обрастать процентами. Мысли о зарработке, непрестанно растущей семье, связях со двором не оставляли Пушкина ни на минуту. Доходившие до Евдокии Петровны сведения о петербургской жизни поэта были неутешительными. Но у Ростопчиной хватает широты души не принять сторону одного Пушкина. Она искренне симпатизирует Наталье Николаевне, считая ее обреченной на семейные неурядицы и раздор.

Через три года семейной жизни Ростопчины переезжают в Петербург. Имя графини Евдокии Петровны окружено громкой славой. Журналы охотно предоставляют свои страницы ее поэзии. Критики не скупятся на восторженные похвалы. Особенно ее поддерживают В.А. Жуковский и Пушкин. Наконец-то у них завязываются более тесные и постоянные отношения.

Ростопчина не претендует на обычный столичный салон. У нее в доме превосходная кухня, и ростопчинские обеды собирают самых знаменитых литераторов. Пушкин, правда, как-то замечает: насколько Ростопчина превосходно пишет, настолько же неинтересно говорит. Здесь есть чему удивиться. Ее беседы привлекают Огарева, Жуковского, впоследствии Лермонтова. Именно беседы. А Пушкин — что ж, откуда ему было догадаться, как робела перед ним блистательная светская красавица. Недаром она проговорится в одном из своих стихотворений:

Боюсь двусмысленных вопросов и речей!
Боюсь участия, обмана... и друзей.

Ее отношение к Пушкину остается трепетным и благоговейным.

Кто только не бывал в петербургском салоне Ростопчиных! Здесь и самые известные певцы из Италии, и великолепные музыканты графы братья Виельгорские, М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский. Расширяется круг литературных завсегдатаев — ее навещают П.А. Вяземский, В.Ф. Одоевский, А.И. Тургенев, П.А. Плетнев, С.А. Соболевский, Владимир Сологуб. Для Ростопчиной наступает третья и самая счастливая, по ее собственному признанию, пора жизни:

Но третья пора теперь мне наступила, —
Но демон суеты из сердца изженен,
Но светлая мечта Поэзии сменила
Тщеславья гордого опасно-сладкий сон.
Воскресло, ожило святое вдохновенье!..
Дышу свободнее; дум царственный полет
Витает в небесах, и Божий мир берет
Себе в минутное, но полное владенье;
Не сердцем — головой, не в грезах — наяву,
Я мыслию теперь живу!

Пушкин настолько дорожит домом Ростопчиных, что даже за день до дуэли приезжает обедать к Евдокии Петровне. «Обычный гость», — отзываются о нем современники. Привычная сдержанность графини не позволит тем

же современникам увидеть всю глубину трагедии, которой стала для нее гибель поэта. Лишь Жуковский, сердцем проникший в тайну графини, делает ей драгоценный и необыкновенный подарок — последнюю черновую тетрадь Пушкина, в которую тот еще ничего не успел вписать. Тетрадь сопровождалась запиской Василия Андреевича — он благословлял Ростопчину «докончить книгу». И графиня откликается на подарок посвященными памяти великого поэта стихами:

Смотрю с волнением, с тоскою умиленной
На книгу-сироту, на белые листы,
Куда усопший наш рукою вдохновенной
Сбирался вписывать и песни и мечты;
Куда фантазии созревшей, в полной силе
Созданья дивные он собирать хотел..
...И мне, и мне сей дар! Мне, слабой, недостойной,
Мой сердца духовник пришел ее вручить,
Мне песнью робкою, неопытной, нестройной
Стих чудный Пушкина велел он заменить!..

Но в действительности тетрадь не была совсем чистой. В ней уже находились черновые наброски самого Жуковского, к которым Ростопчина начала добавлять ходившие в списках «потаенные» стихи Пушкина. Там оказались эпиграммы на Аракчеева, Булгарина и других. И около полутораста стихотворений самой графини.

Ростопчиной не дано было знать, какой сложный путь предстоит проделать ее рукописному сборнику. Дочь Евдокии Петровны предпочла продать его собирателю ру-

кописей и предметов пушкинского времени А.Ф. Онегину-Отто. Сборник оказался в парижском музее. И лишь счастливый случай помог ему, вместе со всем онегинским собранием, вернуться в конце 1920-х годов на берега Невы, в Пушкинский дом.

«Она, без сомнения, первый поэт теперь на Руси», — отзовется о Ростопчиной в это время сменивший Пушкина в руководстве журналом «Современник» П.А. Плетнев. И почему-то так высоко ценимая поэтесса не хочет оставаться в Петербурге, ищет одиночества. Графиня уезжает в свое воронежское имение «Анна», где пишет две повести — «Чины и деньги» и «Поединок», объединенные в сборнике «Очерки большого света». Одновременно она готовит первый сборник своих стихов. Он достаточно необычен. Тема Ростопчиной — неразделенная женская любовь, любовь скрытая, робкая в своих проявлениях, но глубокая и поглощающая всю ее жизнь. Графиня и здесь не дает угадать, кому принадлежало ее сердце.

* * *

Люди, соединявшие ее с Пушкиным. «Мои скрытые знакомцы» — ее собственные слова. И среди них особенно ею любимый, вычеркнутый из жизни и истории Александр Креницын.

...Дом был самый обыкновенный. Грузноватый, мрачный, с однообразными рядами глубоко запавших окон. Обычный доходный дом конца прошлого века. Молодые липки протянувшегося посередине улицы бульвара казались рядом с ним какими-то очень неуверенными и робкими, весенняя зелень травы не такой яркой.

День подходил к концу, спешить было некуда, и в медлительно разливающихся сумерках ленинградской ночи взгляд бездумно следил за загоравшимися огнями — одно окно, другое, два сразу, и вдруг...

Под самый потолок, без единого просвета, стена в картинах, больших и маленьких, в рамах и без рам. Живопись в квартирах можно встретить разную, но это были портреты, и даже с расстояния второго этажа не возникало сомнения — русские, XVIII — самого начала XIX века. Где там бороться с искушением!

Подъезд, широкая лестница, и только когда за тяжелой исцарапанной дверью, разукрашенной бесчисленными фамилиями, раздались торопливые шаги, в голове судорожно мелькнула мысль: с чего начать? Но дверь, натужно охая, уже приоткрылась. Впереди чернел бесконечный коридор, сундуки, допотопные баулы, чемоданы, посеревшие от времени портьеры, телефон на стене — и звучный голос: «Вы к кому?» Этого-то как раз я и не знала, но первая попытка объясниться оказалась удачной — передо мной стоял хозяин комнаты с картинами.

Непривычным здесь было все. После душного коридора предвоенной коммунальной квартиры комната с потолком в кессонах густо почерневшего дуба, огромные растворы окон и картины — на всех стенах, от потолка до нагроможденной почти без проходов мебели: диваны, столики, креслица, ширмы, даже раствор камина, куда пыталась скрыться пара длинноногих застенчивых котов.

«Ах, вы историк искусства? Очень приятно. Я сам актер, так что в некотором роде коллеги. Простите, а вы представляете себе, где находитесь?» Кроме подсмотрен-

ного окна, я ничего не знала. «В доме и кабинете Вейнера, того самого, из «Старых годов».

Вейнер? Для искусствоведа всякие пояснения излишни. «Старые годы» — это, пожалуй, лучший из издававшихся в России непосредственно перед революцией журналов по искусству. Неполных десять лет, в течение которых он выходил, составили своеобразный этап в развитии нашего искусствознания. Искусство самых разнообразных эпох и профилей: русское, древнерусское, западное, восточное, живопись, скульптура, фарфор, миниатюры, ковры, фрески — и при этом великолепные иллюстрации и обязательная архивная основа. «Старые годы» давно стали той энциклопедией, без которой не обойтись ни одному историку искусства. И, значит, здесь, в этом бывшем кабинете, он делался! Конечно, интересно. Но профессиональные, не лишенные налета сентиментальности эмоции не могли противостоять впечатлению от картин. Сколько же их здесь было!

«Должен вам сказать, интересуют меня исключительно портреты. Главное, чтобы знать, с кого. Художник — это, конечно, очень хорошо, но вот имя изображенного и вообще, знаете ли, увлекательно». В ход пошли папки с вырезками из газет, старинных журналов, гравюры, открытки — иконография людей разных и всяких. Но глаза не могли оторваться от стен.

Среди полотен, разных по художественным достоинствам, эпохам, мастерству, от старых и новых копий, почти лубков до настоящей, как говорят профессионалы, классной живописи, два сразу приковывали к себе взгляд. На обоих — молодые мужчины в небольших, густо пуд-

ренных париках, бархатных камзолах, пестрых атласных жилетах с кружевными жабо и черными бантами галстуков по моде 60-х годов XVIII столетия. Изображения, близкие друг другу и совершенно разные.

Мой хозяин был в полном восторге. Эти два? Да это целая история, да еще какая увлекательная!

Любитель летних путешествий по самым тихим уголкам среднерусской полосы, оказался он как-то неподалеку от Великих Лук и в одном доме увидел эти два холста. Может, сама живопись и не слишком привлекла бы его, но вот надписи на картинах и рассказ старушек-владелиц лишили человека сна. Портреты не продавались — старушки были потомками одного из изображенных на них лиц, и только после очень долгих и сложных дипломатических переговоров ленинградский актер стал обладателем полотен. И теперь его переполняла гордость за правильно сделанный выбор: мой интерес служил лишним и неоспоримым тому доказательством.

Юноша, почти подросток, в неожиданно порывистом повороте худощавой фигурки, с пристальным и чуть недоуменным взглядом черных глаз под высоким разлетом бровей. «Креницын Савва Иванович, похороненный в селе Мишино Московской губернии», — гласила надпись на обороте холста.

И другой портрет — плотная, коренастая фигура, уверенная посадка головы, лицо очень бледное, вытянутое, с крупными грубоватыми чертами, открытый, доброжелательный взгляд. Возраст, даже, скорее, характер был совсем иным. Но вот на обороте именно этого холста стояло: «Портрет друга моего Андрея Ивановича Васильева

писал живописец Мина Колокольников сей знак памяти сохраняет у себя Савва Креницын 1760 году».

Мина Колокольников — в это просто не хватало смелости поверить. Рядом с ним романтическая дружба Саввы Креницына и Андрея Васильева, необычная история их портретов, все подробности, которыми торопился поделиться хозяин,— все отходило на задний план.

Каждому, кто хоть немного интересовался русским искусством, знакомо имя Алексея Петровича Антропова. Крупные румяные лица, похожие на вишни живые глаза, яркое сочетание цветов в точно и «вкусно» написанном платье, характеры прямые, открытые, веселые, часто задорные — таким изображается на антроповских портретах человек середины XVIII века. Был Антропов учеником Андрея Матвеева, служил живописцем в Канцелярии от строений, расписывал по ее заказу Андреевский собор в Киеве, а позже перешел главным художником в Синод. Трудно сказать, что в большей степени повлияло на решение живописца уйти из Канцелярии. Может, долгие нелады с начальством, может, материальная необеспеченность, может, желание большей независимости. Как бы там ни было, в полной мере надежды Антропова не оправдались. На его пути постоянно оказывался все тот же соперник — Мина Колокольников.

Уже одного этого достаточно, чтобы обратить внимание на художника. Ржевский крестьянин, он был учеником самого Ивана Никитина. Мина Колокольников был вообще достаточно популярным мастером. Приехав из Москвы, он числился в Петербурге «вольным живописцем» и, значит, хватало ему заказов, чтобы не связывать

себя с определенным учреждением. Тем не менее его постоянно вызывали на различные живописные работы во дворцах. Руководил он выполнением плафонов в Большом Царскосельском дворце, сотнями писал образа для всех придворных церквей, имел учеников, собственных и специально присылавшихся из Канцелярии от строений, брал заказы на портреты. Обо всем этом давно рассказали архивные документы. Вот только не была еще известна историкам ни одна работа Колокольникова. Ни одна — передо мной была первая!

И, глядя на портрет «друга моего Андрея Ивановича Васильева», сберегавшийся черноглазым Саввой Креницыным, становилось понятным, как нелегко давалось Антропову соперничество с «вольным» петербургским живописцем. Был Колокольников художником мастеровитым, добросовестным, способным и на точное определение характера своей модели, и на звучное цветовое решение, разве что, может быть, менее темпераментным, более сдержанным.

Теперь предстояла работа, долгая, кропотливая, чтобы подготовить портрет к научной публикации, и как же могли здесь пригодиться хотя бы самые краткие, самые скупые сведения об изображенном лице! Но в многолетних столкновениях с разнообразнейшими материалами по русскому XVIII веку имена Андрея Васильева и Саввы Креницына мне определенно не встречались. Зато все более настойчивой становилась другого рода ассоциация.

Портрет Саввы Креницына казался странно знакомым — живостью позы, почти детским выражением лица, напряженного и чуть недоуменного, цветовыми сочетани-

ями, мягкостью скользящих, ласковых мазков. На память невольно приходили портреты, и прежде всего детские портреты, не столько забытого, сколько всегда пропускаемого историками художника Кирилы Ивановича Головачевского. А ведь это целая история, местами очень обыкновенная, местами трагическая.

Мальчик, привезенный с Украины в столицу, чтобы петь в придворном хоре, — в XVIII веке, и особенно при Елизавете Петровне, юных певцов вообще разыскивали только в тех краях. Без семьи и родных, все детство как в казарме. Кирила пел, пока юношей «не спал с голосу». Теперь надо было самому заботиться о своей дальнейшей судьбе, хотя придворное ведомство и не отказывало в содействии бывшим певчим. Вместе с Антоном Лосенко он выразил желание учиться живописи и был направлен к пользовавшемуся большой известностью Ивану Аргунову — специальных художественных училищ в России еще не существовало.

Несколькими годами позже торжественно открывается Академия трех знатнейших художеств в Петербурге. Головачевский становится ее учеником и почти сразу преподавателем. Бывший певчий оказывается не только мастеровитым художником, способным учить молодежь, но и культурнейшим человеком. В его руках постепенно сосредоточивается руководство огромными художественными собраниями Академии, ее библиотекой, казной. Он назначается инспектором — наблюдает за воспитанием будущих художников и одновременно ведет один из наиболее ответственных специальных классов живописи — портретный.

Удар оказался тем более тяжелым, что его никак нельзя было ожидать. После десяти лет безукоризненной службы Головачевский лишается одновременно всех своих должностей и увольняется из Академии. Единственный повод, выдвинутый администрацией, — незнание художником иностранных языков. «Одним словом, человек, не имевший начальных оснований для воспитания юношества и не пользующийся чтением иностранных книг, до того касающихся, не может быть способен к столь трудной и весьма нужнейшей для Академии должности». На месте Головачевского оказался заезжий француз и без определенной специальности, и без знания, на этот раз, русского языка.

Но случилось невероятное. Входившие в совет Академии художеств художники не согласились с мнением администрации. Они отстаивали Головачевского именно как воспитателя, умного, доброго, отзывчивого, одним из первых среди русских педагогов задумывавшегося над теорией воспитания молодежи.

Конечно, Головачевский остался и художником, не отказывался от отдельных заказов: только откуда было брать на них время? И когда в 1823 году его не стало, правление Академии, отмечая шестидесятипятилетнюю службу художника, вынуждено было признать, что он «оставил после себя не более 15 рублей наличных денег, так что нечем было даже его похоронить». Признательность Академии выразилась просто — выдана была «на приличное его званию погребение тысяча рублей».

Такова канва его жизни, а работы... Их мало, очень мало. Два чудесных портрета детей Матюшкиных в Треть-

яковской галерее — шестилетний малыш в мундирчике и девочка постарше, наряженная в «взрослое» модное платье тех лет. Оба чуть застывшие от непривычности позы, одежды и вместе с тем такие непосредственные в своей детскости — редкий для портретиста дар. Были они написаны в Москве в 1763 году и несут обстоятельнейшую подпись художника. Кстати, и это тоже существенно, размер их точно совпадает с размером портрета Креницына. Обычно каждый художник придерживался своего излюбленного размера, особенно в определенный период творчества. А здесь разница во времени составляет от силы два-три года..

То, что портрет Креницына не имел авторской подписи, само по себе не могло поставить под сомнение авторство Головачевского. Среди сохранившихся работ художника есть и подписные и неподписные — в XVIII веке этому вообще не придавалось большого значения. Портреты такого прославленного мастера, как Рокотов, почти все лишены подписи автора. Значит, работать предстояло над обоими портретами.

Не зная даже приблизительно, где жили оба друга, какого рода деятельностью могли заниматься, с какими людьми общались, с достаточной уверенностью можно было определить одно — их принадлежность к дворянству. Тем более что и нынешний владелец портретов вспоминал об имении Саввы Креницына, где тот якобы и похоронен.

Конечно, существовали общие списки дворянства, но как искать по ним безо всяких дополнительных указаний и уточнений Андрея Ивановича Васильева — имя, такое рас-

пространенное, собственно «никакое». Лучше обстояло дело с Саввой Креницыным — сочетание имени и фамилии было достаточно редким, если не единственным в своем роде. Но опять-таки списки дворянства не имели вида некой энциклопедии. Существовали родословные книги, охватывавшие наиболее родовитые семьи, — к ним Креницын не принадлежал, существовали списки по губерниям. Указание на губернию было просто необходимо.

Мой новый знакомый не только со слов бывших владельцев портрета утверждал, что Савва Креницын похоронен в селе Мишине Московской губернии. Он сам побывал в этом селе, расположенном неподалеку от Великих Лук, и даже видел надгробную плиту. Правда, Великие Луки ни по какому территориальному признаку и делению никогда не относились к Московской губернии. В XVIII веке их включили в Псковское наместничество, вскоре превратившееся в губернию. И хотя ни на одной из карт Псковщины, которые удалось просмотреть за те отдаленные годы, села Мишина не значилось, начинать, по-видимому, следовало с псковского дворянства.

«Список дворянству Псковского наместничества... в декабре месяце 1777 год», «Дела Псковской провинциальной канцелярии», «Псковский некрополь», многие другие местные издания — да, Креницыны здесь были. Богатые помещики, одни из самых богатых, владельцы нескольких имений. Из них особенно славилось богатством и удобствами Цевлово, расположенное в живописных окрестностях озера Дубец. Хозяином его и был Савва Иванович Креницын. Отличался он восторженным романтическим характером, много читал, свидетельством чему стала со-

бранная им великолепная по тем временам библиотека, увлекался музыкой и имел не только собственный оркестр из крепостных музыкантов — среди богатых помещиков это редкостью не было, — но даже специально посылал крепостного капельмейстера обучаться за границу.

Слишком независимый в суждениях, непокладистый в отношении начальства, Креницын избегал Петербурга, предпочитая ему деревню и, в крайнем случае, Москву. Здесь среди его добрых знакомых был Дмитрий Матюшкин, чьих детей в 1763 году писал Головачевский. Друзья легко могли порекомендовать друг другу понравившегося художника. Но для биографии Головачевского было важно то, что живописец уже в эти ранние годы пользовался популярностью и, будучи на службе связан с Петербургом, приезжал работать в Москву. По-видимому, именно в Москве и написан портрет Саввы Креницына.

Но по мере того как медленно собирались эти скудные сведения, разбросанные во времени, из разных источников, в различной связи, внимание невольно начинало фиксироваться на том не слишком обычном обстоятельстве, что все это происходило в непосредственной близости от Михайловского и Тригорского, иначе — пушкинских мест. Да и среди имен местного дворянства в конце XVIII века все чаще мелькает имя Ганнибалов, а за рубежом нового столетия — и Пушкиных. Тоже псковские помещики, тоже владельцы местных имений, больших или меньших, богатых или разоренных. Но в таком случае на помощь могло прийти пушкиноведение. Известно, что эта обширная и всесторонне разработанная часть литературоведения интересовалась всеми, кто так или иначе, рань-

ше или позже сталкивался или попросту оказывался рядом с великим поэтом. Путь окольный, но казавшийся многообещающим.

...В могучем развороте Невы у стрелки Биржи все делится на свет и тень. Первый же луч блеклого ленинградского солнца заливает Университетскую набережную, начинает крошиться в окнах Кунсткамеры, крупными пятнами рассыпается во дворе Двенадцати коллегий — университета. Но за поворотом к Тучкову мосту — острый порыв ветра, глухая тень, пустота. До Пушкинского Дома — название, сохранившееся за Институтом русской литературы, — десяток шагов, и их надо пройти в тугих волнах ветра, зябкого летом, ледящего зимой. Холодок остается и в доме — в чугунных плитах вестибюля, в чинном порядке старинной мебели, тусклом поблескивании бронзы, красном дереве, кажется, помнящих Пушкина шкафов.

1824 год. Ссылка в Михайловское. После юга, оживленной, переполненной друзьями Одессы она особенно тяжела поэту. «Небо у нас сивое, а луна точно репа», — пишет он с безысходной тоской В.Ф. Вяземской. Близких друзей вокруг нет, да и нет желания их искать. «Соседей около меня мало, — замечает Пушкин спустя полгода по приезде, — я знаком только с одним семейством, и то вижу его довольно редко. Совершенный Онегин».

Но, как и у Онегина, над образом которого как раз в это время работает поэт, молодость брала свое. Не было рядом Ленского, зато множество захоластных да и приезжавших из столицы помещиков, которым еще предстояло войти в его произведения. За выдуманными Харликовыми, Фляновыми, Петушковыми, танцевавшими на балу у Лари-

ных, стояли Философовы, Рокотовы, Креницыны, живые, увиденные поэтом люди. И никаким отшельником Пушкин не стал. Письма его к матери пестрят остроумными рассказами о поездках к соседям, о местных развлечениях, о приятельских отношениях поэта со своими сверстниками. И далеко не так чужда литературных и интеллектуальных интересов была эта еще недавно совершенно незнакомая поэту среда. В Михайловском он находит настоящих, почеловечески близких ему друзей — П.А. Осипову, А.П. Керн, Е.Н. Вульф-Вревскую. Небезразличны оказались для него и другие семьи, между ними известный своим широким гостеприимством дом Креницыных.

Существовало и еще одно обстоятельство, сближавшее сосланного и находившегося под неусыпным полицейским надзором Пушкина именно с Креницыными. Один из внуков Саввы Ивановича, почти ровесник и тезка поэта Александр, разжалованный в солдаты за крамольные и неугодные правительству стихи, тоже находился в ссылке, отбывая ее на службе в армейском полку. Пушкин мог встречаться только с его братьями и самим владельцем имения Цевлово — Николаем Саввичем, сыном черноглазого нетерпеливого юноши с портрета Головачевского.

Фамилия Креницыных и дальше мелькает в семейном архиве Пушкиных. То родители поэта заезжают к ним, иногда гостят даже по несколько дней, а то отец Пушкина пишет его сестре: «Кстати вообрази, Ольга, стены гостеприимного Тригорского огласились песней Земфиры из “Цыган” Сашки: “Старый муж, грозный муж, режь меня, жги меня”!! Песню поют и у Осиповой, и у Креницыных, а музыку сочинил сам Вениамин Петрович (Ганнибал)».

Больше к этому пушкиноведа не добавляли ничего. Но почему? Может, контакты Пушкина с Креницыными тогда же кончились и не показались исследователям существенными? Что же, можно бы и согласиться и с этим, если бы не одна неожиданная, многими годами позже всплывшая подробность, на которую удалось натолкнуться.

Оказывается, Пушкин представил в цензуру первую часть своей «Истории Пугачева» завернутой в исписанный лист бумаги. Собственно, исписанным он не был — просто имел несколько коротких случайных пометок. Поэт не придал им никакого значения, зато гневу Николая I, пожелавшего лично ознакомиться с пушкинским трудом, не было границ. «Что такое?» — размахисто и зло написал он рядом с именами приезжавших навещать поэта лиц. Этими лицами были Александр и Петр Креницыны.

Случайная встреча, случайное совпадение или... Нет, положительно так быстро ставить точку на Креницыных не представлялось возможным. Надо было искать, снова и снова искать. Уже не ради героя портрета Головачевского, а ради той новой и такой увлекательной ниточки, которая тянулась от портрета к жизни Пушкина. Пока трудно сказать, какие могли существовать связи между Пушкиным и Александром Креницыным, одновременно отбывавшими ссылку по политическим причинам и, как оказывается, одинаково связанными с кругами декабристов. Писал же Пушкин после событий на Сенатской площади: «Я был в связи почти со всеми и в переписке со многими из заговорщиков». Вряд ли найдется историк, который бы при таких данных и перспективах решился отказаться от дальнейшего поиска.

«История Пугачева», переименованная по личному указанию Николая I в «Историю Пугачевского бунта», — это 1833 год. 10 февраля 1837 года Пушкина не стало. И одним из первых приходит в квартиру на Мойке, чтобы проститься с убитым поэтом, Александр Креницын. Спустя несколько дней глубокой ночью он провожает в последний путь тело поэта, которое царским распоряжением тайком, без последних почестей и провожатых, спешно вывозится из Петербурга на Псковщину, в село Михайловское, чтобы быть погребенным в Святогорском монастыре. А дальше — дальше начиналась самая интересная глава «Пушкин и Александр Креницын».

С Креницыным получалась удивительная история. Современники, причем современники литераторы, не скупилась на самые теплые отзывы о его таланте, а вот в печати имя Креницына почти не встречается. После многих и явно случайных стихотворений, попавших в журналы 1820-х годов, никаких следов его публичных выступлений найти не удалось. При этом в частной переписке упорно повторяются намеки на то, что креницынские стихи ходили обычно в списках и «не могли увидеть свет».

Среди потока литературных откликов на гибель Пушкина одни были опубликованы, другие оставались в рукописях и забылись. Судьбу последних разделили стихи, в свое время волновавшие читателей едва ли не так же сильно, как великолепные лермонтовские строки, но сочтенные цензурой еще более опасными и именно потому остававшиеся ненапечатанными. Даже спустя без малого тридцать лет, в 1865 году, журнал «Отечественные запис-

ки» не смог добиться разрешения опубликовать их полностью: слишком прямым, точным и беспощадным представлялось заключенное в них обвинение. Автором этих стихов на смерть поэта был Александр Креницын:

...О! Сколько сладостных надежд,
И дум заветных, и видений
На радость сильных и несбед
Ты в гроб унес, могучий гений!

За этим стояло многое: надежды декабристов, их несбывшиеся мечты и новые, неугасавшие планы о будущем России. Креницын хорошо понимал смысл происшедшего. Не светская ссора и пустая дуэль, а политическое убийство того, кто был давней и опасной помехой николаевскому режиму. Какие бы рамки цензуры, сыска, наказаний ни ограничивали поэта, мертвый он становился несравнимо безопасней живого. Его гибели ждали, ее готовили, ей только радовались.

Лермонтов пишет о столкновении поэта с высшим светом, о непонимании окружающих и о том игрище страстей, в которое он оказался вовлеченным. Такова внешняя сторона событий, их видимость. Друга декабристов Александра Креницына она обмануть не могла. И едва ли не в первый раз в поэтических строках, посвященных пушкинской гибели, он открыто и прямо называет то, к чему стремилась вся группа передовых общественных и культурных деятелей России, которую представлял и с которой был связан Пушкин,— уничтожение крепостного права:

Рабы! Его святую тень
Не возмущайте укоризной:
Он вам готовил светлый день,
Он жил свободой и отчизной..

Высоких мыслей властелин,
Мицкевичу в полете равен,
И как поэт и гражданин
Он был равно велик и славен...

Сравнение с Мицкевичем в 30-х годах прошлого столетия было равносильно признанию за творчеством художника самого высокого революционного накала, духа вдохновенной и самоотверженной борьбы со всем тем, что представлял собой николаевский режим, его оковы и весь гнет русского царизма. Недавнее пребывание Мицкевича в России, его дружба с декабристами Бестужевым и Рылеевым, близость с Вяземским, Погодиным, Шевыревым, Пушкиным, восторженно преклонявшимся перед его произведениями,— все было на памяти современников и тем более Креницына. Несколькими годами раньше, откликаясь на восторги Мицкевича перед Байроном, Баратынский писал: «Поклонник униженный, восстань, восстань и помни — сам ты бог». Для Александра Креницына высокая гражданская роль Мицкевича и Пушкина была одинаковой:

Во мраке ссылки был он тверд,
На лоне счастья благороден,
С временщиком и смел и горд,
С владыкой честен и свободен..

И нет его! В могиле он,
Уж нет народного кумира...
Поэта непробуден сон,
Замолкла пламенная лира!

Эти строки говорили еще и о другом. Креницын достаточно хорошо и подробно знал обстоятельства жизни Пушкина и его поведение в каждом отдельном случае. И под «временщиком» и под «владыкой» он видел конкретных людей, за столкновениями с ними — конкретные события, пережитые поэтом, «кумиром народным». Слова, которыми Креницын определяет Дантеса, повсюду повторяются современниками, становятся крылатыми, хотя редко кто задумывается над именем автора:

И кто ж убийца твой? Пришелец,
Барона пажик развращенный,
Порока жалкий первенец,
Француз, продажный и презренный.

Судьба стихов Креницына — какой же бесконечно сложной и горькой она была, да и осталась вплоть до наших дней! Впрочем, формально дань памяти поэта отдали еще в прошлом веке. Даже в энциклопедии Брокгауза и Ефрона ему нашлось десять строк. Поэт, еще на школьной скамье писавший эпиграммы (!). В 1820 году «за оскорбление действием корпусного гувернера» разжалован в солдаты. Через три года произведен в прапорщики, но «несмотря на все старания, мог получить отставку лишь в 1828 году». Смерть Пушкина вызвала силь-

ное и искреннее стихотворение Креницына, напечатанное лишь в 1865 году.

Немного, зато сколько же здесь многозначительных недомолвок! Что это за «оскорбление действием», вызвавшее столь суровое наказание? Почему Креницын прилагал все старания уйти из армии и почему так долго не получал этой возможности? Наконец, оговорка о времени публикации стихов о Пушкине — и в заключение никакой оценки творчества. Полуправда сквозила между строк энциклопедической заметки.

И снова поиски, снова блуждания по архивным делам, по изданиям прошлого столетия, воспоминаниям современников, прямых потомков поэта, чтобы из отдельных подробностей можно было сложить жизнь Александра Николаевича Креницына.

Родной внук Саввы Ивановича, он был всего лишь на два года моложе Пушкина, подобно великому поэту, начал учиться в Царскосельском лицее, но события Отечественной войны 1812 года так поразили воображение мальчика, что он оказался в Пажеском корпусе, учебном заведении, готовившем офицеров. Здесь он начинает писать стихи, они пользуются успехом, расходятся по рукам. Увлечение поэзией сближает Креницына с учившимся в том же корпусе Я.И. Норовым, автором нашумевшей свободолюбивой трагедии «Персей», которой зачитывались в начале 1820-х годов, и будущим поэтом Евгением Баратынским. Дружба с Баратынским проходит через всю жизнь обоих, словно повторяя романтическую дружбу Саввы Креницына с так и оставшимся неизвестным Андреем Васильевым. Трогательно и верно хранит Александр Крени-

цын ее памятки, постоянно возвращаясь к ней мыслями. Такой же сердечностью отвечает ему Баратынский.

Узнал ли друга ты? — Болезни и печали
Его состарили во цвете юных лет;
Уж много слабостей тебе знакомых нет
Уж многие мечты ему чужими стали,
Рассудок тверже и верней,
Поступки, разговор скромнее.
Он осторожней стал, быть может, стал умнее
Но верно, счастьем теперь во сто крат бедней.

Не подражай ему, иди своей тропею.
Живи для радости, для дружбы, для любви,
Цветок нашел — скорей сорви!
Цветы прелестны лишь весною!

Мог ли Креницын последовать такому совету? Вряд ли. Баратынский за свое свободомыслие поплатился исключением из корпуса, хотя предлог для этого был найден иной. Он начинает службу солдатом в глуши Финляндии. Креницына ждала та же судьба. Его широко разошедшиеся стихи «Панский бульвар», остроумно и зло высмеивавшие высокопоставленных лиц, принесли молодому стихотворцу много неприятностей. Это была последняя капля, переполнившая чашу терпения начальства. Появилась возможность свести счеты со слишком независимым и вольнодумным юношей. Ему припомнили и все его прежние стихи, и дружбу с Баратынским, и якобы неуважительное обращение с преподавателями. Именно это пос-

леднее и послужило формальным предлогом для исключения Креницына из корпуса с разжалованием в солдаты и отправкой в отдаленный армейский полк.

Но то, что должно было сломить молодого поэта, в конечном счете оказалось для него немалой удачей. Отличавшийся либеральными взглядами, не чуждый литературных увлечений ротный командир и встреченные здесь Креницыным братья Муравьевы помогли ему сделать следующие шаги в поэзии. Именно к этим годам и относятся те немногочисленные публикации, которые удалось разыскать в «Сыне отечества», «Славянине» и «Русском инвалиде». На своеобразное и очень искреннее дарование Креницына живо откликается А.А. Бестужев, многие другие, но до публикации произведений дело чаще всего не доходит. Каждый раз на пути оказывается цензура, которую не устраивали произведения поэта. Репутация крамольного литератора все более прочно укреплялась за Креницыным, а почти каждое новое стихотворение ее подтверждало. Складывается своеобразная традиция: стихи Креницына расходятся в рукописях, переписываются, заучиваются наизусть.

Глубоко переживший восстание декабристов, отозвавшийся на него новыми, совершенно недопустимыми, с точки зрения цензуры, стихами, Креницын действительно не может вырваться из армии, которая рассматривается начальством как форма его заключения. Как только такая возможность появилась, Креницын не замедлил ею воспользоваться. В 1828 году он выходит в отставку и поселяется в крохотном сельце Мишневе тогдашнего Великолуцкого уезда. Как раз здесь и находилась могила его

деда. Мишнево-Мишино — неточность, которая помешала найти к тому же действительно слишком маленькое сельцо на старых картах Псковской губернии.

В Мишневе не было ни богатства, ни размаха, ни даже самых простых удобств других псковских поместий семьи Креницыных. Трудно теперь точно сказать, что определило выбор поэта, но несомненно здесь сыграли роль и его личные вкусы, привычка к простоте, тяга к уединению и желание создать наиболее удобные условия для литературной деятельности. Правда, Креницын с этого времени не делает попыток печатать свои произведения. Все они остаются в его столе, читаются только друзьями, которым одним и было доступно Мишнево. «Мишневский затворник», как не без горечи называл себя Креницын, очень редко выезжает в столицу. К моменту этих выездов и относятся его встречи с Пушкиным. В Мишнево свозит Креницын семейную библиотеку, семейную коллекцию портретов и картин — причина, почему полотна Мины Колокольникова и Головачевского оказались именно здесь, в таком, казалось бы, не подходящем для портретной галереи месте.

Годы добровольного уединения не меняют внутренне Креницына. Он провожает в последний путь обожаемого им Пушкина, но и находит в себе достаточно душевных сил, чтобы тремя годами позже предпринять куда более далекое путешествие в Париж — присутствовать при встрече перевозившегося туда праха Наполеона. И это снова своеобразный жест политического протеста. В условиях возрождения французской монархии Бурбонов, последовавшей за ней Парижской коммуны Наполеон в представлении Креницына, как и многих людей его поко-

ления, опять превращался в консула республики, противостоящего империи, и, во всяком случае, врага русского царизма.

По возвращении из Парижа Креницын прожил еще долгих 25 лет, не расставаясь со своим любимым Мишневым. Здесь он и скончался в августе 1865 года, забытый как поэт читателями и все еще памятный цензуре, которая даже в некрологе не позволила привести полный текст его стихотворения, написанного на смерть Пушкина.

...Вялый ветер сквозь острый запах бензина, горьковатой городской пыли изредка доносит привкус осыпающихся под московским июльским солнцем роз. Безлюдно в садике, поднявшемся на высоком белокаменном цоколе над одной из старинных улиц Москвы. Пусто в прохладных залах выходящего в него особняка, ставшего пушкинским музеем. Лето. Картины, гравюры, иллюстрации, книги, бытовые предметы — очень случайные: чей-то рабочий столик, чье-то бюро, чей-то чернильный прибор, а то и вовсе вышивка. По-своему это даже интересно, как случайно заглянуть в чужое, случайно не зашторенное окно.

Но только большая правда о пушкинской эпохе заключена не в бытовых мелочах, а в судьбе и творчестве таких, как Александр Креницын, которому пока еще не нашлось места в пушкинском музее. Пройдут годы, -и — почем знать! — у входа в тихий особняк появятся слова, которыми от лица литераторов декабристского круга почтил память Пушкина Креницын:

И как поэт, и гражданин

Он был равно велик и славен!

Знакомство с Лермонтовым, который был всего на три года моложе Ростопчиной, относилось еще к годам ее «московского житья». Но с тех пор произошло слишком многое в жизни обоих. Лермонтов поплатился за свои строки на гибель Пушкина, успел побывать на Кавказе и снова стать причиной императорского гнева. В эти дни он начинает часто бывать у графини. Их связывает общность литературных увлечений и преклонение перед Пушкиным. Литературоведы до сих пор не могут с уверенностью сказать, познакомился ли Лермонтов при жизни со своим великим современником. Пушкин как будто читал лермонтовские строки и высоко их оценил, но даже в этом предположении трудно отделить желаемое от действительного. Вероятнее всего, Лермонтов простился с телом поэта. Воспоминания и рассказы Ростопчиной об их общем кумире особенно трогали его.

«Отпуск его подходил к концу, — вспоминала впоследствии Ростопчина. — Лермонтову очень не хотелось ехать, у него были всякого рода дурные предчувствия. Наконец около конца апреля или начала мая мы собрались на прощальный ужин, чтобы пожелать ему доброго пути. Я одна из последних пожала ему руку... Во время всего ужина и на прощанье Лермонтов только и говорил об ожидавшей его скорой смерти. Я заставляла его молчать и стала смеяться над его казавшимися пустыми предчувствиями, но они поневоле на меня влияли и сжимали сердце». Поэты обменялись посвященными друг другу посланиями. Стихотворение Ростопчиной называлось «На дорогу», лермонтовское начиналось строками:

Я верю, под одной звездой
Мы с вами были рождены;
Мы шли дорогою одною.
Нас обманули те же сны...
Предвидя вечную разлуку,
Боюсь я сердцу волю дать.
Боюсь предательскому звуку
Мечту напрасную вверить...

Стихотворение «Графине Ростопчиной» датировано 27 марта 1841 года. 15 июня того же года Лермонтова не стало. Ростопчина отозвалась на эту потерю строками:

Поэты русские свершают жребий свой,
Не кончив песни лебединой...

Графине всего тридцать лет. Но груз потерь и разочарований так велик, что, кажется, ей уже не удастся оправиться. Бесследно исчезает романтика юности, и она повторяет для себя лермонтовские строки:

Мы жадно бережем в груди остаток чувства —
Зарытый скупостью и бесполезный клад...

В 1845 году Ростопчина с мужем и тремя детьми уезжает за границу. Перед ней проходят Германия, Австрия, Италия, Франция. Во Франции поэтесса знакомится с великим романистом Александром Дюма-отцом. Дюма недавно выпустил в свет «Записки учителя фехтования», посвященные русским декабристам и резко осужденные императором Николаем I. Въезд в Россию для писателя закрыт. Между тем рассказы Ростопчиной, сам ее образ вызывают живейший интерес Дюма. Особенно волнует его история Лермонтова. Для Дюма Ростопчина предстает последней любовью поэта.

Встреча в Риме с Гоголем побуждает Евдокию Петровну направить для публикации в Россию ее стихотворение «Насильный брак», аллегорически представлявшее присоединение к Российской империи Польши. Гоголь был прав — цензура пропустила в печать «недосмотренное» сочинение, зато Николай I тут же разгадал его истинный смысл. Последовало запрещение для Ростопчиной появляться в северной столице. Для жизни ей определялась Москва, из которой она время от времени выезжала в подмосковное же Вороново.

• • •

Это было почти невероятно. И совсем неожиданно!

— Графиня, вы слышали последнюю новость? Гоголь решил окончательно вернуться в Россию и поселиться — где бы вы думали? — в Москве! Вы встречались с ним за границей, что-нибудь говорило о возможности подобного решения?

— Пожалуй, нет.

— Что значит — пожалуй?

— Николай Васильевич отзывался о Москве, и не раз, но мне казалось речь идет о друзьях — не о городе. Но ваши сведения точны?

— Не могут быть точнее. Он решил расстаться навсегда с Европой, но вернуться на родину через святые места: когда-то представится еще такая возможность.

— Ему так нравилась Италия...

— Он чувствовал себя на итальянской земле как дома.

— Нет, это другое. Атмосфера, где он чувствовал себя свободным ото всяких обязательств: далеко от требова-

тельных издателей, назойливых редакторов и... не менее назойливых родных.

— Я ничего не слышал о его семье.

— Немудрено. Николай Васильевич уехал отсюда без малого двенадцать лет назад, после шума, наделанного «Ревизором», уже прославившимся, но еще неизвестным в обществе. К тому же его происхождение из далеких мест.

— Вы имеете в виду Украину?

— Скорее собственно Полтавщину.

— Отсутствие прямых связей со столицами.

— Конечно. Если бы вы знали, как тяжело дался ему первый приезд в Москву. Он непременно хотел приехать в старую столицу знаменитым.

— Но он же жил в Петербурге.

— В Петербурге? Но ведь Петербург очень разный.

— Вы хотите сказать, салоны и присутственные места?

— Вот именно. Попасть в салоны он не мог. Ему надо было беспокоиться о хлебе насущном. В конце концов, Нежинский лицей, который ему довелось кончить, не Царскосельский.

— Я и то удивлялся такому громкому названию. Лицей — это ко многому обязывает, а откуда взять хотя бы педагогов.

— Какие-то педагоги, должно быть, нашлись.

— Но звезд первой величины среди них быть не могло.

— Не берусь судить. Но так, конечно, сложился и свой круг представлений о культуре, о Европе, даже о наших столицах. Мне не довелось слышать разговоров Николая Васильевича на эту тему. О чем он говорил с огромным удовольствием чуть ли не при каждой нашей встрече —

лицейский театр. Этим смешным постановкам уделялось очень много времени и сил, а Николай Васильевич блистал в ролях — трудно поверить — старух!

— В детские годы?

— Вообразите себе. Он был очень горд, что в каком-то спектакле его старуху не сумели разгадать даже собственные родители, а ведь они тоже были искушенными в театральном деле людьми.

— На Полтавщине? Или они приезжали в свое поместье только в летнее время?

— Николай Васильевич никогда не вдавался в подробности своего детства. Но мне показалось, что все дело было в Трощинском, помните, том приближенном государыни Екатерины, который по жене приходился прямым родственником Николая Васильевича и очень считался этим родством. У Трощинского было сказочно богатое поместье рядом с Гоголями.

— Кибинцы! Да уж ничего не скажешь, разговоров о них хватало. Говорили, отставной вельможа сельского происхождения решил устроить среди хат и куреней полную копию императорского петербургского двора. Будто бы там бывали ежедневные приемы, балы, праздники.

— И в том числе собственный театр. Вот в этом-то театре отец Николая Васильевича был настоящим душой. Он сам сочинял пьесы, сам их ставил и сам вместе с супругой участвовал в исполнении. Мальчик мог многому научиться и, главное, приобрести вкус к сцене, что он и доказал своими творениями.

— Вы любите театр, графиня?

— Только музыкальный. Сочинительство на сцене меня не привлекало никогда.

— Простите мой вопрос, но вы с таким сочувствием говорили об этих сельских затеях.

— Николай Васильевич удивительный рассказчик. В его изложении каждая мелочь становится интересной.

— Теперь мы получим возможность насладиться его даром. Мне бы так хотелось, графиня, воспользоваться вашей любезностью и побывать у вас одновременно с Гоголем. Ведь он нанесет визит прежде всего вам.

— Совершенно необязательно, но мы с мужем всегда будем ему рады.

— Да, кстати, графиня, я слышал, что Гоголь не владеет французским и изъясняется только по-русски.

— Вы боитесь не понять великого писателя?

— Нет, это просто а пропо.

— Да, Николай Васильевич не отдает предпочтения французскому. Он бы слишком много терял не на русском.

— Но и итальянскому тоже.

— Зато если бы вы видели, как преуморительно он изъясняется на итальянском, вместе с мимикой и жестами!

— Я вижу, он доставил вам в Италии немало веселых минут. А, впрочем, не смею более обременять своим присутствием, графиня. Всего вам наилучшего.

Наконец-то! И все так неожиданно. В Москве... Надо, чтобы граф послал ему приглашение на обед. Как можно скорее. Где он мог остановиться? Собственная квартира? Гостиница?

Графиня знала: у него нет денег. Разговоры в литературной Москве не утихали: постоянные просьбы о займах. Больших и меньших. Надежды на переиздания, но они расходились с трудом, книгоиздатели не хотели рисковать.

Даже ссора с добрейшим Михайлой Петровичем Погодиным — только из-за денег. Профессор настаивал на публикации какого бы то ни было отрывка из «Мертвых душ» в журнале. Николай Васильевич отказывался. Наотрез.

Почему? Она догадывалась. Тем более мог догадаться сам занимавшийся литературными трудом Погодин. Недовольство собой. Чувство, что новые части «не дотягивали» до прежних. Признаться в творческом бессилии, пусть даже временной слабости? Но зачем. Ему так мало лет и вполне можно подождать вдохновения, новой мысли. Отрешиться ото всех литературных страстей и — ждать. Просто ждать.

Можно подумать и иначе. Вторая часть «Мертвых душ» не продолжала первой, была иной. Не о том и не про то. Он же начинал «Мертвые души» так давно... И был совсем иным.

Ему не хватало России. Ее хватило на первую часть и совсем не хватило на вторую. Как же здесь все не похоже на Италию!

И потом что-то не сложилось с близкими. Дружба с Виельгорскими... От начала до конца придуманная. Мать семейства — по душевному складу прибалтийская немка, жесткая лютеранка, все разговоры у которой о православии — непременно дань адепта, хотевшего быть святее римского папы. Она одинаково не понимала талантливое музыканта-мужа и уж тем более такого запутавшегося в собственных сомнениях Николая Васильевича.

Николай Васильевич. Его душевная отчужденность от мира. Детская веселость, сменяющаяся угрюмой молчаливостью. Вечная тень Хлестакова и Русь, без меры и края. Молитвенно понятая и по-настоящему свободная.

Золотистый пышно взбитый кок. Прозрачно яркие глаза. Пестрые жилеты... Они были так нужны в веселых рассказах, и так увядали в минуты задумчивости.

Единственный затянувшийся разговор. О Дженнаццвнo. Ничем не примечательное местечко между Римом и Альбано. Сладковатое терпкое вино. Ради него в местной траттории задерживались все проезжающие. Большая низкая комната. Прокопченные потолки. Неподъемные трехногие стулья. Облака табачного дыма. Треск бильярдных шаров. Крики восторга и отчаяния: в Италии нельзя равнодушно играть. Запах перегоревшего жира. Они с мужем всегда задерживались в саду. Под пиниями и редкими оливками. Николай Васильевич рассказывал, что вошел внутрь. Мало того. Вдруг потребовал отдельного стола, стула и бумаги с чернилами: пришла охота писать. Благословенная охота! Он не любил одиночества, даже когда погружался в задумчивость. «Жизнь, жизнь — вот что главное!»

Так и здесь были сходу, не отрываясь, написаны две лучших главы «Мертвых душ». «Первый раз я писал так же легко, как «Вечера на хуторе». Глаза говорили: это было счастье. И другого ему не было нужно. Никогда.

Он признался, что всегда считал себя подготовленным к четырем профессиям. Чиновник — в юности установление справедливости казалось самым важным, главное — возможным. Художник — он кончил курс императорской Академии художеств и жалел, что не стал претендовать на медаль, а вместе с ней на пенсионерскую поездку. Его всегда окружали художники: «Судите сами, хуже или лучше них я подготовлен!» Актер — он ссылался на юношеские опыты, хотя в петербургский императорс-

кий театр он и не смог пройти. (Позже я слышала от Каратыгина, что на этом проваленном экзамене он был в действительности совершенно необыкновенен, создан для сцены.) Наконец, — и этим Николай Васильевич особенно гордился — его любой хороший хозяин взял бы поваром. Никто не умел придумывать таких соусов и приправ. Он веселил всех, сочиняя подобные композиции и в итальянских ресторанах для спагетти.

Я заметила, что в этом списке нет главной позиции — писательства. Он поморщился: «Я никогда не собирался заниматься литературой. Просто так получилось. А, кстати, разве у блистательного господина Дюма жизненный путь складывался иначе?» Да, это было так. «От скрипа перьев с утра и до ночи изо дня в день, наверно, естественно бежать именно в литературу. Вы ведь знакомы с этим блистательным романистом, ваше сиятельство?» Удивительно легко и непринужденно перекинутый мостик.

С ним было так легко. И ему хотелось... помочь.

Мы расстались очень скоро, и вот теперь...

• • •

Зато в доме на Садовой-Кудринской Ростопчины устраиваются с полным комфортом. Их дом располагает великолепной библиотекой и редким собранием картин и скульптуры — коллекционированием увлекается муж поэтессы. Дом-музей гостеприимно распахивает двери для всех желающих. Никаких ограничений для посетителей не существовало.

Вместе с тем в литературном салоне Ростопчиных собирается вся литературная Москва. Здесь можно встре-

тить М.Н. Загоскина, Д.В. Григоровича, А.Ф. Писемского, Е.В. Тур — сестру драматурга Сухово-Кобылина, поэта Я.П. Полонского, актеров М.С. Щепкина и Н.В. Самарина. В этих стенах Лев Толстой знакомится с А.Н. Островским, живописец П.А. Федотов с Гоголем. В мае 1850 года Ростопчины устроили выставку Федотова, пользовавшуюся совершенно исключительным успехом. «Что заставляло стоять перед ними <картинами> на выставках такую большую толпу посетителей, что привлекало приходивших к ним в ростопчинскую галерею, — писал журнал «Москвитянин», где сотрудничала Ростопчина, — это верность действительности, иногда удивительная, разительная верность». Федотовым же был написан превосходный портрет графини.

Но память — ею поэтесса дорожит больше всего. Она много пишет, много работает, а сердцем по-прежнему принадлежит пушкинским годам. Евдокия Петровна сама признается в этом незадолго до своей смерти профессору историку М.П. Погодину: «Принадлежу и сердцем и направлением не нашему времени, а другому, благороднейшему — пишущему не из видов каких, а прямо и просто от избытка мысли и чувства, я вспоминала, что жила в короткости Пушкина, Крылова, Жуковского, Тургенева, Баратынского, Карамзина, что эти чистые славы наши любили, хвалили, благословляли меня на путь по следам их — и я отреклась... от своей эпохи, своих сверстников и современников, сближаясь все больше и больше с моими старшими, с другими образцами и наставниками моими...»



НА ПОСЛЕДНЕМ ДЫХАНИИ

Он повторял это так часто, что друзья не могли не запомнить: жить можно только в двух городах — Риме и Москве. После двенадцатилетних скитаний по Европе и Италии принятое решение казалось окончательным: навсегда поселиться в Москве. Чтобы работать (много работать!). И обзавестись семьей (как никак 39 лет, не говоря о настоящей большой славе!). Первое было очевидно для всех, о matrimониальных планах догадывались лишь самые близкие.

Слов нет, материальная сторона по-прежнему оставалась нерешенной. Он упорно боролся с ней все годы ограниченных скитаний: бесконечные долги, редкие гонорары. Московские перспективы рисовались не менее туманными, зато жила надежда на настоящих друзей. Их было много, и в их отношении Гоголь не сомневался.

Сентябрь 1848 года. Москвичи доживают золотую осень на дачах и в поместьях. Первая предоставленная Гоголю квартира — дом С.П. Шевырева. Здесь собирались профессора Московского университета, актеры Малого театра во главе с «папашей Щепкиным», бывала Евдокия Ростопчина, впервые представил на суд зрителей свое «Сватовство майора» П.А. Федотов, Сегодня дома № 4 по Дегтярному переулку не существует. В 1986 году он был снесен за одну ночь — ради удобства размещения башенного крана, понадобившегося для ремонта соседнего многоэтажного жилья.

Нетерпеливое желание встретиться с друзьями и, может быть, прежде всего повидать Анну Михайловну —

Анози Виельгорскую — ту, к которой все чаще обращаются надежды на будущее, — гонит Гоголя в Петербург. Впрочем, 14 октября он снова в Москве. Давние знакомцы уже собрались на зимних квартирах. Многие из старых недоразумений забылись, и Гоголь к великой своей радости оказывается снова у М.П. Погодина. Предоставленная ему просторная комната верхнего этажа по-прежнему вмещала и знаменитое погодинское древлехранилище, и библиотеку с большими окнами в старый хозяйский сад и на Девичье поле. Через два года после смерти Гоголя поселившийся в тех же местах И.И. Лажечников с восторгом будет писать: «Я живу совершенно как на даче. Передо мною Девичье поле, окаймленное хорошенькими домами, а за ними все Замоскворечье с Донским монастырем, Александровским дворцом, Нескучным, дачей графа Мамонова и Воробьевыми горами; кое-где выглядывают золотые главы Ивана Великого, Спасского монастыря, Симонова... В красные дни рои детей, как букеты цветов, разбросаны по зелени луга, кавалькады прекрасных амазонок скачут мимо...»

Но преодолеть давний разлад с Погодиным Гоголю не удастся. Уже 1 ноября в погодинском дневнике появляется знаменательная запись: «Думал о Гоголе. Он все тот же. Я убедился». Второе ноября: «Гоголь по два дня не показывается, хоть бы спросил, чем ты кормишь двадцать пять человек?» Девятнадцатое ноября: «Гоголь служил всю ночь — неужели для восшествия на престол?» Неделий позже Погодин обвиняет гостя в испорченном дне рождения, «гвоздем» которого должен был стать Гоголь. Дело явно идет к разъезду, в качестве предлога для которого Пого-

дин объявляет о желании немедленно (среди зимы!) приступить к ремонту своего дома. Гоголю, еще толком не освоившемуся с Москвой, по-прежнему страдающему безденежьем, приходится срочно искать кров. Любой и без промедления. Любезное приглашение графини А.Е. Толстой оказалось как нельзя кстати.

Прожив много лет за границей, графская чета не располагала в Москве собственным домом. В ожидании приезда задержавшегося по делам мужа графиня устраивается в гостинице «Дрезден», напротив дома генерал-губернатора, где ее часто посещает Гоголь. Решение об аренде усадьбы скончавшегося годом раньше А.И. Талызина на Никитском бульваре принимает приехавший в столицу в начале декабря граф. Вместе с гостем супруги въезжают буквально через несколько дней (как это было принято, дом сдавался вместе со всей меблировкой и «хозяйственным устройством», как гласил «съемный договор»).

Доверие, проявленное Гоголем к Толстым, основывалось на добрых воспоминаниях. Дело было не только в давнем знакомстве — Гоголь пользовался услугами графини, в свое время подыскавшей для него удачную, с учетом всех его прихотей, квартиру в Париже, некоторое время он и вовсе жил у супругов. С неизменным уважением он отзывался о сестре графа С.П. Апраксиной, в которой готов был видеть идеал рачительной великосветской хозяйки. Без ее содействия не обошлось при подыскании талызинского дома, где Софья Петровна станет почти ежедневно бывать. Но — и это самое удивительное! — Толстые были совершенно безразличны к Гоголю-писателю и никогда не читали его произведений.

Сын генерал-адъютанта Павла I А.П. Толстой в отличие от отца не обладал административными талантами и широтой интересов. Как генерал-губернатор Твери, а затем Одессы, он служил поводом для постоянных анекдотов, так что в 1840 году предпочел выйти в отставку. «Ерёма» (прозвище графа) уехал и из России. Его жена, правнучка А.Д. Меншикова и грузинского царя Вакара, помимо крутого нрава и экзальтированности, была известна своей «сонной болезнью»: чтобы не засыпать, ей приходилось находиться в постоянном движении. Москва смеялась над ее панической боязнью любой «заразы», так что прислуге приходилось перемывать посуду по несколько раз, постоянно меняя полотенца.

Один из старейших боярских дворов, сохранившихся до наших дней в первоначальных параметрах и основных постройках (домовладения № 7 и № 7-а по Никитскому бульвару) составлял в XVII веке собственность семьи Салтыковых. По существу он был загородным, располагаясь за проходившими по нынешнему Бульварному кольцу стенами Белого города, в непосредственной близости от Арбатских ворот. Ориентировался он на Мострюкову улицу (иначе — Мамстрюков переулок), сохранявшую в своем названии недобрую память о владении местными землями начальника опричнины Мамстрюке-Кострюке, как его называли народные песни (ныне Мерзляковский переулок). Брат второй жены Ивана Грозного, царицы Марьи Темрюковны Черкасской, он своей жестокостью превосходил царя Ивана, но и сам не избежал царского гнева: сложил свою голову на плахе.

Основные салтыковские палаты — каменные, на сводчатых потолках — располагались торцом к переулку. Многочисленное деревянное жилье, хозяйственные постройки вплоть до коровника и конюшен — по границам участка. Около въездных ворот со стороны Мострюковой улицы, на месте нынешнего памятника Н.В. Гоголю работы Н.А. Андреева, находился обязательный для всех московских дворов колодец с «журавлем», сохранявшийся и при жизни здесь Гоголя. Часть земли между строениями, тоже по старому московскому порядку, занимали огород и плодовые деревья.

В годы правления Анны Иоанновны владельцем двора был дальний родственник императрицы Василий Федорович Салтыков, ставший сторонником цесаревны Елизаветы Петровны. В свои шестьдесят шесть лет, переодевшись в простое крестьянское платье, он на облучке ее кареты принял участие в аресте правительницы Анны Леопольдовны с семейством и дворцовом перевороте в пользу дочери Петра I.

Московский двор после смерти отца наследовал сын Петр Васильевич, камергер, женатый на дальней родственнице А.С. Пушкина, княжне М.Ф. Солнцевой-Засекиной (ее матерью была М.Ф. Пушкина). Именно она оказывается последней владелицей усадьбы из семьи Салтыковых. К этому времени здесь складывается один из самых аристократических кварталов столицы. Среди соседей «камергерши» — дочь фельдмаршала А.А. Хитрово, князя Несвицкие, Урусовы, Хилковы, Разумовские, Толстые, Мельгуновы.

Со смертью пережившей мужа М.Ф. Салтыковой родовое гнездо переходит к родственнику известного исто-

рика, специалиста по Москве XVII века И.Н. Болтина — Д.С. Болтину, который деятельно принимается за ее перестройку. Поныне существующие ограда и ворота делаются со стороны бульвара. Вместо многочисленных разбросанных служб возводится одно объединившее их строение напротив главного дома, сам же главный дом достраивается до красной черты вновь спланированного городом бульвара, то есть увеличивается как раз на «гоголевскую часть». В этом варианте он не имел со стороны двора аркады и покоящегося на ней балкона, тогда как хозяйственный корпус сразу строится с порталом. Все работы были осуществлены в 1807—1812 годах.

Пожар 1812 года захватил весь район Никитского бульвара. Третьего сентября 1812 года он начался на Арбате и на следующий день выжег бывшие салтыковские владения. Как и во многих других городских усадьбах, восстановление оказалось не по средствам старому владельцу. Ее хозяином стал А.И. Талызин. Именно с его именем связана наибольшая путаница в атрибуции последней гоголевской квартиры.

Члены семьи московских служилых дворян Талызины при Петре Великом были в числе первых русских моряков, получивших специальное образование в Голландии и Италии. Но одним морским делом обстоятельства не позволили им ограничиться. С начала 1760-х годов они принимают деятельное участие в дворцовых переворотах, существенно сказавшееся на их судьбах. Вместе с дядей, адмиралом И.Л. Талызиным, в перевороте в пользу Екатерины II участвуют три его племянника: Александр, Петр и Иван.

Услуга, оказанная Екатерине первым из них, выглядела, на первый взгляд, пустяковой: Александр Талызин предоставил императрице свой мундир, в котором она смогла принять присягу на верность гвардейцев. Эта реликвия хранилась в выстроенном в Москве доме (ныне — Воздвиженка, 5, Государственный научно-исследовательский музей истории архитектуры имени А.В. Щусева), где А.Ф. Талызин поселился со своей женой, дочерью фельдмаршала С.С. Апраксина. Охлаждение Екатерины ко всей семье Талызиных произошло очень быстро, и в 1765 году адмирал, как и его племянники, поселился в Москве.

Второй брат — Петр Талызин, дослужившийся до чина генерал-поручика, стал участником заговора против Павла I, но в последний момент изменил плану заговорщиков и поддержал Александра I в деле сохранения самодержавия. Его последовавшую через два месяца после убийства Павла смерть современники объясняли мстью бывших товарищей по заговору. Существовал в разговорах и другой вариант — заговорившая совесть предателя.

Третий брат, А.И. Талызин, более умеренный в своих действиях, в 1816 году находит средства, чтобы приобрести салтыковскую усадьбу. Он восстанавливает и здание служб, и главный дом, который получает со стороны обращенных друг к другу дворовых фасадов одинаковые балконы на грузных каменных арках, что придает всей усадьбе вид единого архитектурного ансамбля.

Принятое утверждение, будто супруги Толстые сняли дом у А.И. Талызина, неверно. Хотя по данным Биографического словаря Русского Исторического общества А.И. Талызин умер в 1849 году, надгробная надпись в Донском

монастыре приводит иную дату — 31 августа 1847 года. Тем самым супруги Толстые вели переговоры с многочисленными и еще не осуществившими раздела наследства наследниками. Не будучи никогда связан официальным браком, А.И. Талызин имел шестерых «воспитанников», которым императрица дала дворянство и право на фамилию отца. Совершенно также в московском доме не существовало комнат хозяйки, и вся обстановка носила подчеркнуто холостяцкий характер. У Толстых же не оказалось поначалу времени и условий заниматься новой меблировкой. Супруги заняли второй этаж, Гоголю достались две комнаты первого, с окнами в сторону парадного подъезда, где все время разворачивались, обдавая окна грязью, экипажи, и на бульвар, где продолжал течь в открытых берегах заросший камышом и полный лягушачьих семей ручей Чарторый. Большой, на всю первую приемную комнату зеленый ковер хотя бы немного утеплял пол, находившийся на уровне земли (крыльца в доме не было).

• • •

Неужели правда? Неужели все могло так беспощадно повторяться? Незадавшееся сватовство. Слишком многие из знакомых утверждали, он приехал в Москву, чтобы жениться, устроить семейную жизнь. Он? Такой непригодный к подобному порядку. В конце концов, лишенный средств к существованию.

И выбор. Уже сделанный. Уже как будто всесторонне обдуманый: девочка-графиня из такой тщеславной и кичившейся своим происхождением семьи. Крошечная Ано-

зи Виельгорская, за которой он наблюдал столько лет: как росла, как постигала жизнь, как привыкла слушать его рассуждения. Интересовалась ли ими? Вряд ли. Понимала ли, о чем шла речь? Конечно, нет. Если и симпатия, то вслепую... Как же много ему нужно было сочувствия, поддержки, понимания, опытных советов.

Москва не умела молчать. Тем более соблюдать сдержанность. К тому же его слава дразнила завистников, толкала на самые злые выводы и поступки.

Что там не принятое предложение! Главное — возмущенная в своей будто бы аристократической гордости, мать семейства отказала соискателю отныне от дома. Сама мысль соединить жизнь знаменитого писателя со знатной невестой ей представлялась оскорбительной.

И Москва винила не родителей, но, конечно, Гоголя. Как посмел? На что замахнулся? Нахлебник! Жилец на чужих хлебах! Писатель, неспособный продолжать свое поприще?

Статус уважаемого гостя и положение нахлебника — как часто и как остро их приходилось Гоголю ощущать! Он мог подыматься к хозяевам на второй этаж к обеду и ужину, но специально приглашать его слуги не приходили. Никаких угощений его многочисленным гостям, само собой разумеется, не полагалось. На авторское чтение «Ревизора» в большей по размеру комнате надо было получить отдельное разрешение. И не злоупотреблять снисходительностью хозяев! Свой день рождения он предпочитает не обнародовать у Толстых, а попросить отметить лишним куском «бычачины» у Аксаковых. Именины Гоголь празднует, конечно, у Погодина. И постоянно должен

думать о чаевых, которые приходится давать всем слугам в доме Толстых, — иначе трудно жить. Единственный находящийся у него в услужении «хлопчик» должен спать в его приемной, за спинкой отодвинутого от стены дивана. На полу. Две комнаты гоголевской половины — постоянное место его пребывания.

Аскетизм обстановки гоголевского жилья невольно обращал на себя внимание его посетителей. В приемной — два дивана, под прямым углом друг к другу, два стола, заваленных книгами и журналами (один из них — пересекавший проход в заднюю комнату). Несколько стульев. Прикрывавший топку печи экран с зеленой тканью. Об убранстве второй комнаты сохранились одни догадки: двери в нее никогда не распахивались. Гоголь словно стеснялся этой части своего жилья. Известно, что он выносил оттуда свои рукописи. Вынес все, что успело накопиться, и в ту роковую ночь, когда все решил сжечь.

Движение душевного отчаяния, авторской неудовлетворенности или ощущение неизбежности физического конца? Еще недавно ничто не предвещало конца. Весь январь 1852 года Гоголь хлопочет о делах, торопит издания. 31 января занимается гранками. Спустя три дня договаривается с Аксаковыми о вечере с малороссийскими песнями. И только 4 февраля пожалуется Шевыреву на стремительно нарастающую слабость. Не в состоянии ей противостоять, он 10 февраля буквально вскарабкивается на второй этаж. В последний раз. Ему важно передать рукописи в чьи-то руки, но граф Толстой отказывается от подобной миссии, не придавая состоянию гостя вообще никакого значения. Возрастающая худоба, желтизна кожи,

восковой оттенок лица Гоголя не привлекают его внимания. В ночь с 11 на 12 февраля наступает кризис. (Сознание полнейшего одиночества, ненужности, окружающего безразличия?)

Глубоким вечером, когда дом уже спит, Гоголь посылает «хлопчика» узнать, холодно ли на другой половине нижнего этажа. «Хлопчик» отвечает, что холодновато. Тогда Гоголь закутывается в шинель и со свечой в руке отправляется по коридору в комнату с камином. «Хлопчик» получает приказ разжечь камин, по возможности тихо открыв вьюшку, а сам возвращается на свою половину за стопкой перевязанных рукописных листов. Присев на подвинутый стул, он сам не отходит от топки, пока не сгорают последние страницы. И только придя к своему дивану, сваливается на него как подкошенный, задыхаясь от слез. Недоброе дело мы сделали, твердит он мальчику, ой, недоброе. Тем более недоброе, что в сгоревшей связке были не только материалы второго тома «Мертвых душ». Когда через считанные часы после кончины писателя граф Толстой пересмотрит все его имущество, в нем не окажется ни одной рукописной страницы, а современники сохранят его слова, что никак не думал в ту роковую ночь расставаться со всем своим писательским скарбом: с задумками не расстаются.

Вот только всю меру разразившейся трагедии не осознал никто. Гоголь еще раз убедился: ждать сочувствия бесполезно. Он предпочитает теперь не подыматься со своего дивана. Голод не мучает его: на него просто не остается сил, как и на то, чтобы карабкаться на второй этаж. Волны боли заставляют замирать в самом неуязвимом для

них положении. Каждое слово, которое надо выговорить, становится подвигом.

В 1931 году некие «инстанции» обращаются к основоположнику русской онкологии доктору Петру Александровичу Герцену (внуку А.И. Герцена) за консультацией о возможной причине смерти писателя. Ответ был категорическим: рак поджелудочной железы в стадии развитых метастазов. В 1974 году тот же предположительный диагноз повторит ученик П.А. Герцена, ведущий онколог 4-го Санупра Кремля профессор Б.В. Милонов. Профессор заметит, что подобное заключение слишком давно бытует среди медиков, но вряд ли будет обнародовано, ибо это помешает извечной борьбе литературоведов о «духовной подоплеке» ухода из жизни писателя. Между тем все описываемые симптомы слишком характерны. Жаль только, что никто из врачей не облегчил его страданий простым болеутоляющим, которые уже были известны.

Первые после роковой ночи дни ухудшающееся состояние Гоголя не привлекает ничьего внимания. Друживший с ним доктор Иноземцев якобы сам заболевает именно в это время, приглашенные, в конце концов, графом Толстым врачи оказываются не в состоянии поставить диагноз. Картина болезни размывается каждодневными диагнозами и противоречивыми назначениями. Права теща М.П. Погодина: около Гоголя нет человека, который бы один и с полной ответственностью следил за больным. Всем чужой и никому не нужный, он оказывается предметом экспериментов, одинаково торопливых и досадливых.

«В двенадцатом часу ночи стали холодеть ноги. Я положил кувшин с горячею водою, стал чаще давать про-

глатывать бульон, и это, по-видимому, его оживляло; однако ж вскоре дыхание сделалось хриплое и еще более затрудненное; кожа покрылась холодною испариною, под глазами посинело, лицо осунулось, как у мертвеца. В таком положении оставил я страдальца, чтобы опять не столкнуться с медиком-палачом, убежденным в том, что он спасает человека; я хотел дать успокоение графу. Рассказали мне, что Климентов приехал вскоре после меня, пробыл с ним ночью несколько часов: давал ему каломель, обкладывал все тело горячим хлебом; при этом опять возобновился стон и пронзительный крик. Все это, вероятно, помогло ему поскорее умереть». Таково свидетельство доктора А.Т. Тарасенкова. Вот только как совместить его со словами тещи Погодина, что она провела около больного две последних ночи, не встретив ни одного человека, или В.А. Нащокиной, что «около него никого не было»?

— Додо, вынужден тебя огорчить. Нашего друга Николая Васильевича не стало. Сегодня под утро. Точнее никто ничего не может сказать. По-видимому, он испустил дух в одиночестве. Так утверждает лекарь. Но ты так побледнела. Не дать ли тебе нюхательной соли? Нельзя же быть настолько впечатлительной. В конце концов, известно, что он хворал, и смерть в таком случае не могла быть неожиданностью.

— Боже, какая жестокая судьба...

— С этим не поспоришь.

— Мы сейчас же поедem с ним проститься.

— Нет, Додо. Это невозможно. Наш Маркел говорит, там царит такая сумятица, что мы только поставим графа Александра Петровича в неловкое положение.

— О какой сумятице ты говоришь, Андрей Федорович?

— Граф, как говорят, все обыскивает в поисках оставшихся денег, но будто бы все имущество покойного — тощий чемодан с двумя парами ношеного белья, парой таких же ношенных штиблет, сюртука, в котором он на каждый день ходил и нескольких книг. Расстройство полное. Одно утешение, что долгов на хозяине покойник не оставил никаких.

— Такая бедность? Но Тургенев говорил, что на его глазах Николай Васильевич передавал несколько тысяч своего гонорару для передачи в Петербург Плетневу — в пользу нуждающихся студентов. Он был поражен такой широтой жеста, а Щепкин подтвердил, что это обычный для Гоголя поступок.

— Ты же знаешь, дорогая, что широкие жесты чаще делают именно бедняки, а не состоятельные люди. Это форма самоутверждения, если хочешь.

— Или истинного сострадания.

— Суди как хочешь. Но вспомни, в каких дешевых номерах он останавливался в Италии. Даже среди тех ничтожных цен, которые там приходилось платить, его выбор переходил все грани простого приличия для образованного человека и дворянина. Впрочем, он же польский шляхтич, а у них иные, чем у нас, представления.

— Не будем сейчас об этом, Андре. Как же все-таки будет с телом? Графу придется так или иначе организовать похороны и открыть доступ к покойному.

— Не уверен. Граф Александр Петрович очень прижимист и, думается, найдет способ сохранить свои деньги. В конце концов, ведь проживание Гоголя в доме ему ничего не стоило, если не считать лишней тарелки супу и чашки чаю, если гость подымался к их с Анной Егоровной столу. Под предлогом вечных постов у них и стол-то никогда толком не накрывался, а к маю выставлялись и вовсе одни сушки и варенье. Подожди, я послал Маркела опять на разведку. Он нам и доложит, как обстоят дела.

— И так может продолжаться несколько часов.

— Вполне возможно. Но если бы я и решил туда заглянуть, то для тебя это совершенно невозможно. Светская дама, да еще с твоим именем!

— Андре, я бы пренебрегла этими условностями, но застать покойного еще не уложенным в гроб....

— Да уж этого наш кокетливый Николай Васильевич ни за что бы не захотел.

• • •

— Ну вот, графиня, все и выяснилось. Граф Александр Петрович от участия в похоронах наотрез отказался. Какие-то там просьбы из Московского университета его не устроили.

— После четырех лет совместной жизни! Это неслыханно. А графиня Анна Егоровна?

— Так о ней в доме и думать забыли. С минуты, что покойный слег в постель, она из хозяйства своего убралась и носу туда больше не казала. Говорят, вернется после похорон и полной дезинфекции дома. Всего! Очень уж заразы графинюшка боится. Помните разго-

вор, что прислуга у нее по семи раз посуду перемыкает? Похоже на дело.

— Ну, и что же, что с Николаем Васильевичем?

— А что с ним, болезным, может быть? Пока споры идут, уложили его на стол в первой его комнате, сразу у входных дверей в сени. Народ, само собой разумеется, толпится, графа раздражает. Студенты валом валят, только что в дом войти не решаются — все больше у ворот да во дворе.

— Значит, можно с ним проститься?

— Ни-ни, Авдотья Петровна. Спор-то теперь еще пуще разгорелся. Друзья-то Николая Васильевича намереваются все в приходской церкви устроить, да денежек не выкладывают, жмутся. Вот все и кончилось на том, что профессора университетские о своих правах на усопшего заявили: как-никак почетным профессором числился.

— Господи, граф, но денег же можно дать.

— Конечно, можно, да кому? Ведь все организовывать надобно. Вся Москва, поди, соберется. Что с таким фантом делать?

— Не тревожьтесь, граф, как я уходил, все уже и образовалось. Профессора и студенты гроб из дому вынесли, в университетскую церковь на руках понесли. Граф Александр Петрович еще ранее того уехать изволил, а друзья... Да и то сказать, какие там друзья! Погодин, вишь, в отсутствии, Аксаков с семейством тоже, доктор Иноземцев, что Николая Васильевича пользовал, с начала его болезни сам вроде хворает, о себе вестей не подает. Родных у покойного, как известно, здесь нету. Одно слово, разошелся народ. Остается одной матушке-Москве о бесприютном на-

шем позаботиться. Да вы никак плачете, Авдотья Петровна? Полноте, все устроилось, а себя крушить из-за каждого покойника не след. Вот ввечеру, как университетскую церковь приберут да все устроят, вы и съездите Николаю Васильевичу поклониться. Очень он вас почитал, сочинениями вашими радовался. Да не раз видеть доводилось, и не мне одному, как засматривался вами. Станет в сторонке у живописи и смотрит, смотрит, глаз не сводит. Так-то.

• • •

В Татьянинской церкви отошла последняя служба. Причетники собрали последние свечи. Остались лишь те, которые горели у поднятого на подножие гроба. Дьячок, не переставая, читал в углу Псалтырь. Несколько студентов расположились по углам, чтобы не оставлять Николая Васильевича в одиночестве. Они сами вызвались на ночное бдение после того множества народу, который весь день и вечер заполнял Большую Никитскую улицу, соседние переулки. О проезде не могло быть и речи. Приезжавшие на упряжках спешили еще у Никитских ворот и смешивались с толпой. Кругом ни разговоров, ни перешептываний. Только редко и глухо отзывались колокола у Старого Вознесенья, Великомученицы Татьяны, на Нарышкином дворе. Отзывались и замирали в пышно взбитых сугробах по краям мостовых.

Ближе к полуночи толпа прощающихся стала редеть. Священнослужители просили не попавших приходить, начиная с ранней заутрени: всего-то оставалось несколько часов. Никто не спорил. Растоптанный в крошево снег глушил шаги. Так же тихо подъехала карета, остановившаяся

яся у церковного подъезда. Женщина в глубоком трауре, скрытая густой вуалью, начала подниматься по чугунной лестнице. Приостанавливалась, словно набирая дыхание. Снова одолевала несколько ступеней, чтобы застыть на несколько минут.

Последнее усилие. С трудом приоткрывшаяся высокая дверь. Ладанный туман. Темные фигуры. Шепоты. И снова тишина.

Незнакомка направилась к гробу. Поднялась на приступки, обеими руками облокотилась на край гроба. Еще раз собралась с силами и, откинув вуаль, припала к лицу покойного. Она не прикладывалась к останкам — она нежно и бережно целовала человека как живого. Как готового ответить на ее ласку. Открыть глаза. Заговорить...

Время шло. Незнакомка выпрямилась, опустила вуаль, но не двинулась с места — локти на краю гроба, как извятие неутешного горя.

Снова склонилась к покойному. Снова откинула вуаль. И смотрела. Смотрела, не отрываясь, на все сильнее застывавшие черты.

Она не замечала сменявшихся причетников, студентов, времени... Это были ее часы. Последние. И невозвратимые. Всю ночь.

С появлением первых служителей, готовившихся к заутрене, женщина в последний раз прижалась к дорогому лицу. Спустилась с приступок и пошатнулась. Силы оставили ее. Студенты, всю ночь не спускавшие с незнакомки глаз, кинулись поддержать ее. Бережно свели с лестницы. Распахнули двери.

У подъезда стояла карета с гербами Ростопчиных. Лакей соскочил с козел, где дремал рядом с кучером, чтобы отворить дверцу экипажа.

«Так это же графиня Евдокия Ростопчина!..»

Лошади с ходу взяли рысью.

— Я и забыл, что ты все еще ждешь окончания заинтересовавшей тебя истории.

— Отец, подумайте сами, чего может стоить одно название: «Моя прекрасная графиня»! Как же тут не добиться конца.

— Тебе ничего не стоит его придумать.

— Это будет несправедливо по отношению к удивительнейшей женщине.

— После такой оценки мне остается только сдаться. Итак, как ты помнишь, в 1858 году я, наконец, ввиду смены русского императора получил разрешение на въезд в его империю, тринадцатью годами раньше я поклялся себе, что как можно скорее увижу графиню, чего бы мне это ни стоило. Впрочем, я не предполагал тогда никаких трудностей. Но они оказались, и еще какие!

— Вы же знали об их существовании.

— В отношении самого себя, но не графини. Кажется, что ей стоит, хотя бы для развлечения, вновь пуститься в европейский вояж. Но она оказалась на положении ссыльной. Представь себе, за границу мог выезжать ее муж, но не она. Границы ее существования ограничились Москвой — Петербург ей был запрещен — и единственной подмосковной усадьбой. Оставалось ждать ми-

лости императора, но в России такая не может иметь места.

— А графиня добивалась освобождения от пут?

— Ни в коем случае! Она глубоко презирала всех тех, кто в силу своего положения мог ограничивать человеческую свободу. Император Николай I, кстати сказать, отлично знал ее взгляды. Она была не светской львицей — Поэтом. С большой буквы.

— Но все-таки вы в Москве!

— И первый мой визит к графине! Это было ошеломляюще!

— Вы не виделись тринадцать лет. Для женщины ее возраста это немало.

— Для «женщин ее возраста», как ты выражаешься, может быть, но не для нее. Вообрази, огромный двухэтажный дворец с колоннадой среди вековых деревьев, роскошные цветники, фонтаны, статуи, лучшие или худшие, — для парка это не имеет большого значения. — Внутри анфилада заполненных живописью зал. Мне позже сказали, что у графини проходят самые роскошные выставки в Москве. И — ее глаза. Такие же огромные, бездонные, исполненные сочувствия.

— Любви, хотите вы сказать.

— Я никогда не называл этого понятия в отношении графини. Да, она была рада меня видеть. Очень рада. Она сказала, что с моим появлением возвращается к жизни.

— Чего же вы еще хотели?

— От графини ничего. Но в ней что-то произошло. Меня предупреждали, что графиня тяжело больна. Но это

была не болезнь. Скорее опустошенность, которую она старалась всеми силами скрыть.

— Вы думаете, она так долго помнила Пушкина?

— Ты хочешь сказать, всю боль, которую он ей причинял? Нет, графиня человек иного склада. Ее грусть была более свежей, если можно так сказать, еще не пережитой.

— И вы не полюбопытствовали, в чем дело? Вокруг было столько сочувствующих или несочувствующих. Графиня для Москвы...

— Любопытствовать я, конечно, не стал. Ко мне это не имело отношения, а все остальные...

— И все же...

— И все же достаточно часто мелькало имя Гоголя. Графиня действительно еще в Италии говорила, как дорожила им. Как писателем. А человеком — не знаю. Она никогда не была склонна к откровенности. Я уезжал из Москвы после нашей последней встречи в ее великолепном дворце с особенно тяжелым сердцем. Хотя речь шла и об Италии, и о Париже. О соборе Божьей Матери в Белых Одеждах, который она особенно любила. Я напомнил ей, как легкий ветерок из закоулков квартала Маре всегда наметает у ступеней собора листья. Непременно пожелтевшие. «Даже весной», — заметила графиня.

Предчувствие мое оправдалось: через полгода, в разгар той самой суровой и снежной зимы, которой мне так и не удалось увидеть, графини не стало.

Родовитые русские семьи обычно хоронят в монастырях. По какой-то причине место графов Ростопчиных оказалось на обыкновенном кладбище за городской заставой. Графиня удостоилась такой же суровой черной

мраморной плиты, как и остальные члены семьи мужа. Князь Нарышкин рассказывал мне об этом с известной неловкостью и досадой, единственным преимуществом стала близость к церкви и то, что дорожка к захоронению стала называться Ростопчинской.

— Отец, я уверен, что никогда не окажусь в России, но если бы вы, на самое далекое будущее, захотели, я бы с радостью принял на себя обязанность помнить 3 декабря в церкви Святого Этьена.

— Ты меня тронул своим порывом, Александр. Но это моя жизнь. И ее жизнь — как бы она в действительности ко мне ни относилась. Знаю, что помнила всегда, и этого достаточно. Пусть же все кончится вместе со мной. Когда бы это ни произошло.



ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Кладбище Данилова монастыря. Семь верст по растоптанному снегу и обледеневшим колеям москвичи несли сюда тело Николая Васильевича. Траурный поезд растянулся без малого на версту.

Толпа заполнила весь монастырь. Изрезанная оврагами и пригорками земля. Никаких аллей и дорожек. Место отыскалось в узком проулке между настоятельским домом и собором. У самого входа в кельи ни тебе зеленого клочка, ни деревьев, ни уголка притулиться, подумать. На ходу да на юру, иначе не скажешь. И с самого начала цветы. В снегу пышные венки иммортелей, с первым теплом — розы. Белые. Ложившиеся на появившийся скромный памятник — беленый крест у зеленого подножья.

Причетники собора знали: каждый день у ворот останавливалась извозчичья карета. Старенький лакей осторожно слезал со ступеньки, медленно добирался до могилы и менял цветы, стряхивал пыль с памятника. Слухом об этом полнилась Москва. Дошел он и до полтавской Васильевки, откуда мать покойного просила благодарить «неизвестных благодетелей» за доброту и память. Самой все равно было не приехать: стара да и не по средствам.

Так продолжалось шесть лет. 3 декабря 1858 года не стало графини Ростопчиной. От тяжелой и неизлечимой болезни. С того же дня исчез и старичок с цветами. Может быть, простое совпадение.

Но история могилы на этом не кончалась. Первым на ней появился «аксаковский валун» — по легенде, найден-

ный по поручению С.Т. Аксакова в неких южных степях камень, на который водрузили крест. Иначе — «Голгофа». Сергей Тимофеевич после долгой и тяжелой болезни скончался в том же 1858 году, целиком поглощенный своим недугом и материальными затруднениями. Никаких документальных подтверждений о связи его с появившемся на могиле Николая Васильевича валуном нет.

В разные годы, и тоже без сохранившейся документации, на могиле появилась гладкая плита черного мрамора, узорная решетка. У основания креста металлическая доска с надписью: «По случаю исполнившегося пятидесятилетия со дня смерти Николая Васильевича Гоголя почитателями возжена на могиле его неугасимая лампада и установлено вечное на литургии ежедневное поминовение».

Теми же почитателями были сделаны надписи на плите. Сверху: «Здесь погребено тело Николая Васильевича Гоголя. Родился 19 марта 1809 г. Скончался 21 февраля 1852 г.»

Но сторонам: «Муж разумивый престол чувствия. Притчей, гл. 12, ст. 23.»

«Правда возвышает язык. Притчей, гл. 14, ст. 34».

«Горьким словом своим посмеюся. Иеремия, гл. 20, ст. 8». «Истинными же оуста исполнит смеха оустие же их исповедания.

Иона, гл. 8, ст. 21 1».

В 1931 году останки Гоголя решением правительства перенесли на Новодевичье кладбище.

Единственным гражданским лицом, помимо шести сотрудников НКВД, был помощник А.В. Луначарского, профессор А.А. Федоров-Давыдов. Никакого описания захоронения Гоголя, как и фотографий, не сохранилось.

На Новодевичьем кладбище старое надгробие было заменено бюстом работы Н.В. Томского. Крест исчез. Валун, согласно разрешению директора Новодевичьего кладбища В. Аракчеева, использован вдовой Михаила Булгакова как надгробие ее мужа и соответственно обтесан.

В 2009 году в связи с 200-летним юбилеем со дня рождения Н.В. Гоголя принято решение о восстановлении на Новодевичьем кладбище старого надгробия (на какой именно год — не определено).

Прах графини Евдокии Петровны Ростопчиной по-прежнему покоится на Пятницком кладбище. В Москве.



СОДЕРЖАНИЕ

Дюма-отец и Дюма-сын	3
У самых Чистых Прудов	67
La rue des vieus Temples	98
«Блистал пред нами мир...»	104
Первый — и единственный	123
Московские невесты	159
Роковой долг	211
На последнем дыхании	262
Вместо эпилога	284

Литературно-публицистическое издание

Серия: Кумиры. Истории Великой Любви

Молева Нина Михайловна

**МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ГРАФИНЯ,
ИЛИ
ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА ГОГОЛЯ И ДЮМА**

Ведущий редактор *С. М. Киктев*
Компьютерная верстка *Т. Т. Соловьева*
Корректор *Л. Г. Сухова*

Подписано в печать 07.09.09. Формат 84x108^{1/32}.
Усл. печ. л. 15,12. Тираж 3000 экз. Заказ № 7318

Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.99.60.953.Д.009937.09.08 от 15.09.2008 г.

ООО «Издательство Астрель»
129085, г. Москва, проезд Ольминского, За

ООО «Агентство «КРПА Олимп»
115191, Москва, а/я 98
www.rus-olimp.ru
E-mail: olimpus06@gambler.ru

Издание осуществлено при техническом участии
ООО «Издательство АСТ»

Отпечатано с готовых файлов заказчика в ОАО «ИПК
«Ульяновский Дом печати». 432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14



Las Vegas-Clark County

LIBRARY
DISTRICT

www.lvccld.org

**Books, Movies
& More**

LAS VEGAS-CLARK COUNTY LIBRARY DISTRICT



3 1133 70830 2098

Графиня Евдокия Ростопчина. Одна из самых красивых женщин Европы, чьими стихами восхищались Пушкин и Лермонтов. Ее боготворили и презирали за «легкость бытия», она была слишком независима. Ростопчина — первая женщина, которая не побоялась пойти против течения. Ее история — история XVIII века. Но главное — ее мужчины... Ловелас Александр Дюма любил в своей жизни только двух женщин. Одна из них — графиня Ростопчина. И пожалуй, главная тайна ее жизни — Гоголь. Правда об их любви до сих пор волнует историков. Когда Николай Васильевич умер, в комнате с его гробом всю ночь простояла женщина. Ее лица под вуалью не увидел никто. А на могиле Гоголя еще долгое время каждый год появлялись белые розы.

В новой пронзительной книге автора исторических бестселлеров Нины Молевой впервые приводится засекреченный архивный документ, проливающий свет на смерть Гоголя.

www.elkniga.ru

ISBN 978-5-271-25213-6



9 785271 252136